



ПГТУ

Поволжский государственный технологический университет

**ФИЛОСОФСКАЯ
АНТРОПОЛОГИЯ**

**ИДЕИ И ТЕОРИИ МЫСЛИТЕЛЕЙ
РАЗНЫХ ЭПОХ И КУЛЬТУР**

Хрестоматия

Йошкар-Ола
ПГТУ
2014

УДК 1
ББК 87
Ф 56

Составители: Г. М. Пурынычева, А. П. Алексеев,
М. Ю. Билаонова, Е. В. Вязова, В. И. Загайнова, М. Ю. Пурынычев.

Рецензенты:

доктор философских наук, профессор ИФ РАН **В. М. Розин**;
доктор философских наук, профессор ЧГСХА **Г. Э. Ахтямова**

*Печатается по решению
редакционно-издательского совета ПГТУ*

**Философская антропология. Идеи и теории мыслителей
Ф 56 разных эпох и культур:** хрестоматия / сост. Г. М. Пурынычева,
А. П. Алексеев, М. Ю. Билаонова [и др.]. – Йошкар-Ола: Поволж-
ский государственный технологический университет, 2014. – 252 с.
ISBN 978-5-8158-1333-5

Приведены отрывки из текстов первоисточников по основным
модулям курса «Философия», изучаемого студентами всех
направлений очной и заочной форм обучения.

УДК 1
ББК 87

ISBN 978-5-8158-1333-5

© Пурынычева Г. М., и др.,
составление, 2014
© Поволжский государственный
технологический университет, 2014

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов по курсу «Философия» основывается на изучении первоисточников – оригинальных философских текстов древних и современных мыслителей. Это требование зафиксировано федеральными государственными образовательными стандартами и распространяется на студентов очной и заочной форм обучения. Сборник философских текстов предназначен для того, чтобы познакомить студентов с оригинальными идеями и теориями философов разных эпох и культур по проблемам эволюции представлений о предмете философского знания, а также философской антропологии.

Проблема человека, без преувеличения, являлась центральной в философской проблематике, занимавшей умы мыслителей всех эпох. Отношение человека к природному миру вокруг него, природному началу в нем самом, людям, живущим рядом, одновременно к предкам и потомкам, границы человеческой свободы и ответственности, смысл жизненные поиски, смерть и бессмертие – это не полный перечень вопросов, относящихся к предмету философской антропологии.

Изучая тексты, студенты смогут непосредственно вступить в диалог с мудрецами по вопросам происхождения и сущности человека, сравнить системы духовно-нравственных ценностей разных эпох, жизненные цели, переживания человека прошлого и настоящего. Знакомство с этими материалами, их критическое осмысление способствует формированию креативной личности, становлению творческого мышления специалиста, более глубокому пониманию процессов индивидуально-личностного и социального развития.

По каждому модулю курса предлагаются вопросы и задания для самоконтроля знаний, призванные помочь студентам глубже понять и систематизировать изучаемый материал, организовать самостоятельную работу по его освоению.

Материалы, представленные в настоящем издании, могут быть успешно использованы в практике проведения семинарских занятий, при подготовке докладов, рефератов и эссе.

1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ

Задание: Проанализируйте тексты и сопоставьте различные точки зрения по проблеме «Смысл и значение философии в жизни человека и общества». Опираясь на тексты, дайте ответы на вопросы:

1. *Что такое философия?*
2. *Для чего необходимо ее изучать?*
3. *Какую роль играет философия в жизни человека и общества?*
4. *Как изменялся предмет в ходе развития философии?*

ЭПИКУР (ок. 341-271 до н.э.)

ЭПИКУР ПРИВЕТСТВУЕТ МЕНЕКЕЯ

Пусть никто в молодости не откладывает занятия философией, а в старости не устает заниматься философией; ведь никто не бывает ни незрелым, ни перезрелым для здоровья души. Кто говорит, что еще не наступило или прошло время для занятия философией, тот похож на того, кто говорит, что для счастья или еще нет, или уже нет времени. Поэтому и юноше, и старцу следует заниматься философией: первому – для того, чтобы, стареясь, быть молоду благами вследствие благодарного воспоминания о прошедшем, а второму – для того, чтобы быть одновременно и молодым и старым вследствие отсутствия страха перед будущим. Поэтому следует размышлять о том, что создает счастье, если действительно, когда оно есть, у нас все есть, а когда его нет, мы все делаем, чтобы его иметь.

Что я тебе постоянно советовал, это делай и об этом размышляй, имея в виду, что это основные принципы прекрасной жизни. Во-первых, верь, что бог – существо бессмертное и блаженное, согласно начертан-

ному общему представлению о божестве, и не приписывай ему ничего чуждого его бессмертию или несогласного с его блаженством; но представляй себе о божестве все, что может сохранять его блаженство, соединенное с бессмертием. Да, боги существуют: познание их – факт очевидный. Но они не таковы, какими их представляет себе толпа, потому что толпа не сохраняет о них постоянно своего представления. Нечестив не тот, кто устраняет богов толпы, но тот, кто применяет к богам представления толпы: ибо высказывания толпы о богах являются не естественными понятиями, но лживыми домыслами, согласно которым дурным людям боги посылают величайший вред, а хорошим – пользу. Именно люди, все время близко соприкасаясь со своими собственными добродетелями, к подобным себе относятся хорошо, а на все, что не таково, смотрят, как на чуждое.

Приучай себя к мысли, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Ведь все хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущения. Поэтому правильное знание того, что смерть не имеет к нам никакого отношения, делает смертность жизни усладительной, – не потому, чтобы оно прибавляло к ней безграничное количество времени, но потому, что отнимает жажду бессмертия. И действительно, нет ничего страшного в жизни тому, кто всем сердцем постиг (вполне убежден), что вне жизни нет ничего страшного. Таким образом, глуп тот, кто говорит, что он боится смерти не потому, что она причиняет страдание, когда придет, но потому, что она причиняет страдание тем, что придет: ведь если что не тревожит присутствия, то напрасно печалиться, когда оно только еще ожидается... Таким образом, самое страшное из зол, смерть, не имеет к нам никакого отношения ни к живущим, ни к умершим, так как для одних, она не существует, а другие уже не существуют.

Материалисты Древней Греции. М., 1955. С. 190, 191, 194.

Мишель де МОНТЕНЬ (1533-1592)

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого – бесконечные словопрения, которыми ее окружили. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, боль-

шими косматыми бровями, внушающей страх. Кто напялил на нее эту живую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, доброго, радостного, чуть было не сказал – шаловливого. Философия призывает только к празднествам и веселью. Если пред вами нечто печальное и унылое – значит, философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку сидящих вместе философов, сказал им: «Или я заблуждаюсь, или, – судя по вашему столь мирному и веселому настроению, – вы беседуете о пустяках». На что один из них – это был Гераклион из Мегары – ответил: «Морщить лоб, беседуя о науке, – это удел тех, кто предается спорам, требуется ли в будущем времени глагола Βαλλω две лямбды или одна или как образована сравнительная степень χετρον βεττιον и превосходная κειριβτον и βελττοτον. Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют их хмурить лоб и предаваться печали»...

Душа, вместившая в себя философию, не может не заразить своим здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; она не может равным образом не переделать по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей, соответственно, исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и добродушия. Отличительный признак мудрости – это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это βαγосо и baralipton измазывают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь понаслышке. В самом деле, это она утишает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых эпициклов, но опираясь на вполне осязательные доводы разума. Её конечная цель – добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось подходить к добродетели ближе других, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогории, откуда отчетливо видит все находящееся под нею, достигнуть её может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тернистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, склону. Но так как тем мнимым философам, о которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшей добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но вме-

сте с тем и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками – счастье и наслаждение, то по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ, унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий.

Монтень М. Опыты. М.-Л., 1954. Кн. 1. С. 207-209.

Иоганн Вольфганг ГЁТЕ (1749-1832)

В сущности говоря, вся философия есть лишь человеческий рассудок на туманном языке...

Каждому возрасту человека соответствует известная философия. Ребенок является реалистом: он также убежден в существовании груш и яблок, как в своем собственном. Юноша, обуреваемый внутренними страстями, должен следить за собою. Забегая со своим чувством вперед, он превращается в идеалиста. Напротив, у мужчины все основания стать скептиком. Он хорошо делает, когда сомневается, надлежащее ли средство выбрал он для своей цели. Перед поступком и во время поступка у него все основания сохранять подвижность рассудка, чтобы не сетовать потом на неправильный выбор. Старик же всегда будет тяготеть к мистицизму. Он видит, как много вещей зависит от случая: неразумное удается, разумное идет прахом, счастье и несчастье неожиданно уравновешивают друг друга. Так есть, так было, – и преклонный возраст находит успокоение в Том, который был, есть и будет...

От физика нельзя требовать, чтобы он был философом; но можно ожидать от него философского образования, достаточного для того, чтобы основательно отличать себя от мира и снова соединиться с ним в высшем смысле. Он должен образовать себе метод, согласный с наглядным представлением; он должен остерегаться превращать наглядное представление в понятие, понятия в слова и обходиться с этими словами так, словно это предметы; он должен быть знаком с работой философа, чтобы доводить феномены вплоть до философской области.

От философа нельзя требовать, чтобы он был физиком, и тем не менее его воздействие на область физики и необходимо, и желательно. Для этого ему не нужны частности, нужно лишь понимание тех конечных пунктов, где эти частности сходятся.

Худшее, что только может постигнуть физику, как и некоторые иные науки, получается тогда, когда производное считают за первоначальное, и так как второе не могут вывести из первого, то пытаются объяснить его первым. Благодаря этому возникает бесконечная путаница, суесловие и постоянные усилия искать и находить лазейки, как только покажется где-нибудь истина, грозя приобрести власть.

Между тем как наблюдатель, естествоиспытатель бьется, таким образом, с явлениями, которые всегда противоречат мнению, философ может оперировать в своей сфере и с ложным результатом, так как нет столь ложного результата, чтобы его нельзя было, как форму без всякого содержания, так или иначе пустить в ход...

Но если физик в состоянии дойти до дознания того, что мы называли первичным феноменом, — он обеспечен, а с ним и философ. Физик — так как он убеждается, что достиг границы своей науки, что он находится на той эмпирической высоте, откуда он, оглядываясь назад, может обозревать опыт на всех его ступенях, а оборачиваясь вперед, если не вступать, то заглядывать в царство теории. Философ обеспечен потому, что из рук физика он принимает то последнее, что у него становится первым. Теперь он имеет право не заботиться о явлении, если понимать под последним все производное, как его можно найти в научно сопоставленном материале, или как оно в рассеянном и спутанном виде предстает перед нашими чувствами в эмпирических случаях. Если же он хочет пробежать и этот путь и не отказывается кинуть взгляд на единичное, он сделает это с удобством, тогда как при иной обработке, он либо чересчур долго задерживается в промежуточных областях, либо слишком долго заглядывает туда, не получая о них точного знания.

Гёте И.В. Избранные философские произведения. М., 1964. С. 350, 369, 136-137.

Гастон БАШЛЯР (1884-1962)

Использование философии в областях, далеких от ее духовных истоков, — операция тонкая и часто вводящая в заблуждение. Будучи перенесенными с одной почвы на другую, философские системы становятся обычно бесплодными и легко обманывают; они теряют свойственную им силу духовной связи, столь ощутимую, когда мы добираемся до их корней со скрупулезной дотошностью историка, твердо уве-

ренные в том, что дважды к этому возвращаться не придется. То есть можно определенно сказать, что та или иная философская система годится лишь для тех целей, которые она перед собой ставит. Поэтому было бы большой ошибкой, совершаемой против философского духа, игнорировать такую внутреннюю цель, дающую жизнь, силу и ясность философской системе. В частности, если мы хотим разобраться в проблематике науки, прибегая к метафизической рефлексии, и намерены получить при этом некую смесь философом и теорем, то столкнемся с необходимостью применения как бы окончеченной и замкнутой философии к открытой научной мысли, рискуя тем самым вызвать недовольство всех: ученых, философов, историков.

И это понятно, ведь ученые считают бесполезной метафизическую подготовку; они заявляют, что доверяют прежде всего эксперименту, если работают в области экспериментальных наук, или принципам рациональной очевидности, если они математики. Для них час философии наступает лишь после окончания работы; они воспринимают философию науки как своего рода баланс общих результатов научной мысли, как свод важных фактов. Поскольку наука в их глазах никогда не завершена, философия ученых всегда остается более или менее эклектичной, всегда открытой, всегда ненадежной. Даже если положительные результаты почему-либо не согласуются или согласуются слабо, это оправдывается состоянием научного духа в противовес единству, которое характеризует философскую мысль. Короче говоря, для ученого философия науки предстает все чаще в виде царства фактов.

Со своей стороны, философы, сознающие свою способность к координации духовных функций, полагаются на саму эту медитативную способность, не заботясь особенно о множественности и разнообразии фактов. Философы могут расходиться во взглядах относительно оснований подобной координации, по поводу принципов, на которых базируется пирамида эксперимента. Некоторые из них могут при этом идти довольно далеко в направлении эмпиризма, считая, что нормальный объективный опыт – достаточное основание для объяснения субъективной связи. Но мы не будем философами, если не осознаем в какой-то момент саму когерентность и единство мышления, не сформулируем условия синтеза знаний. Именно это единство, эта связность и этот синтез интересуют философа. Наука же представляется ему в виде особого свода упорядоченных, доброкачественных знаний. Иначе говоря, он требует от нее лишь примеров для подтверждения гармонизирующей деятельности духа и даже верит, что и без науки, до всякой науки он

способен анализировать эту деятельность. Поэтому научные примеры обычно приводят и никогда не развивают. А если их комментируют, то исходят из принципов, как правило, не научных, обращаясь к метафоре, аналогии, обобщению. Зачастую под пером философа релятивистская теория превращается таким образом в релятивизм, гипотеза в простое допущение, аксиома в исходную истину. Другими словами, считая себя находящимся за пределами научного духа, философ либо верит, что философия науки может ограничиться принципами науки, некими общими вопросами, либо, строго ограничив себя принципами, он полагает, что цель философии науки – связь принципов науки с принципами чистого мышления, которое может не интересоваться проблемами эффективного объяснения. Для философа философия науки никогда не принадлежит только царству фактов.

Таким образом, философия науки как бы тяготеет к двум крайностям, к двум полюсам знания: для философов она есть изучение достаточно общих принципов, для ученых же – изучение преимущественно частных результатов. Она обедняет себя в результате этих двух противоположных эпистемологических препятствий, ограничивающих всякую мысль: общую и непосредственную. Она оценивается то на уровне *apriori*, то на уровне *aposteriori*, без учета того изменившегося эпистемологического факта, что современная научная мысль проявляет себя постоянно между *apriori* и *aposteriori*, между ценностями экспериментального и рационального характера.

Башляр Г. Новый рационализм. М., 1987. С. 160-161.

Памфил Данилович ЮРКЕВИЧ (1826-1874)

Материализм и задачи философии

Если вообще суждения о явлениях современных не могут отличаться единством и законченностью, их неустановившиеся и разноречивые суждения о характере и достоинстве современной философии, может быть, имеют свое особое историческое основание. По мере того как положительные науки развиваются все более и более, открывая факты и их соотношения, о которых непосредственное человеческое сознание не имело никакого представления, общество предъявляет философии такие сложные и тяжелые требования, которым уже не удовлетворяют прежние, так богато и величественно развитые, системы идеализма. Каждый

новый факт в области положительного знания природы или истории имеет сторону, неизъяснимую по началам и приемам физики, и этот остаток бытия всегда будет ожидать метафизики, которая изъяснила бы его, по крайней мере приблизительно. Таким образом, задача философии усложняется и затрудняется, по мере того как положительные науки открывают человеческому сознанию ту или другую часть мира явлений, о существовании которой человек *доселе*, может быть, вовсе не думал. Быстрое изменение философских систем в XVIII и в начале XIX столетия идет об руку с быстрыми открытиями в многосложной области естествознания, как и в частном человеке, идеи изменяются, чередуются, вытесняют одна другую и преобразуются, смотря по большему или меньшему количеству вновь открываемых и наблюдаемых им фактов. И если системы последнего идеализма не удовлетворяют нас, то это, может быть, еще ничего не говорит против их достоинства. Скорее всего, этим обозначается, что мы живем в другом мире, — в мире других явлений, других фактов, которые необходимо отсылают нас и к другим идеям. В самом деле, эти системы, неудовлетворительные, если рассматривать их с научной точки зрения, отличаются тем неподдельным воодушевлением к лучшим идеалам человеческого духа, тем героизмом мысли и чувства, в которых вообще мы можем видеть выдающуюся, характеристическую черту всех явлений этой эпохи; поэтому они всегда будут обнаруживать притягательную силу на умы и сердца, способные сочувствовать всему высокому и прекрасному. Философия наших дней подобным же образом выражает наше время с его практическими, рассчитанными стремлениями, с его здравым смыслом, который идет вперед, оглядываясь и благоразумно обзоревая все пути, чтобы не оставить прочной почвы действительности; поэтому, каково бы ни было ее научное достоинство, она может показаться бледною сравнительно с прежними системами. Может быть, из этих обстоятельств нам придется изъяснять часть жалоб на упадок философии в настоящее время, хотя эти жалобы вообще имеют основание более сильное. Именно явление материализма и широкое распространение его в массах — вот то обстоятельство, в котором очень многие видят признаки упадка философии в настоящее время.

Справедливо, что в настоящее время в особенности материализм имеет партию, сильную, по крайней мере, своею численностью и значением в области естествознания. Как при настроении общества идеалистическом возникает в нем склонность к мифологии, к вере в привидения, в создания фантазии, заслоняющие собою действительность, так настоящий материализм может быть рассматриваем как побочный про-

дукт реалистического настроения нашей цивилизации. Мы так много обязаны мертвому механизму природы, в области которого деятели и двигатели оказываются тем совершеннее, чем они пассивнее, что фантазия невольно рисует образ простой, пассивной материальности как чего-то основного, лежащего на самом дне явлений: она хотела бы все движения так называемой жизни изъяснять так же просто и удобно из механических отношений материальных частей, как изъясняет она движения паровой машины. Чарующая мысль, что в случае успеха этих изъяснений мы могли бы так же просто управлять судьбами своими и других людей, как ныне управляем движением машин, служит едва ли не самым задушевным побуждением к материалистическим воззрениям. Если бы действительность была во всех откровениях материальна, то основной закон механики, которым выражается равенство действия и противодействия во всех движениях вещественной природы, простирался бы без границ на все существующее; а так как этот закон содержится в себе основу для всех изобретений в области механики, то мы уже не находили бы в природе явлений, не покоряющихся изобретательному гению человека. Недавно один ученый этого направления распространился об устройстве и механическом образовании человеческого организма и вообще человеческого существа с таким всезнанием, что наконец сам почувствовал необходимость предостерегать читателя от возникающей при этом надежды – изобрести или построить этот организм и все это существо искусственными средствами человеческой механики; впрочем, он умеет противопоставить этой мечте не решительные основания, а только случайные обстоятельства, что, например, человек не может построить таких нежных сосудов и изобрести такие тонкие инструменты, какими пользуется природа; и очевидно, что подобным образом за сто лет назад могли бы опровергать мечту о пароходах и телеграфах, которая, однако же, в настоящее время осуществлена. Итак, ненасытимая жажда знания, стремление сделать все бытие насквозь прозрачным, не оставить ни одного пункта в действительности не разложенным, не выведенным, стремление рассчитывать и предопределять мысленно всякое явление и его будущность с математическою точностью, – вот те психические мотивы, которые, по нашему мнению, обуславливают явление материализма в настоящее время. Предположение абсолютного знания возможно сделать только на двух основаниях: или мы должны допустить, что содержание нашего мышления есть безусловно внутреннее, или, напротив, что содержание бытия есть безусловно внешнее. И в первом случае безусловное знание будет возможно потому, что мышление, как все бытие в идее, будет содержать в сво-

их логических формах и их процессах формы и процессы всего сущего; в последнем – потому, что само сущее не противопоставит нам ничего внутреннего, простого, не поддающегося анализу и существующего безусловно. Материализм настоящего времени решает под другими формами ту самую задачу знаний, под тяжестью которой пал абсолютный идеализм. И если этим обозначается историческая, следовательно условная, необходимость его появления, то, с другой стороны, в этой идее знания мы видим его глубокое отличие от материализма времен языческих, потому что последний не вызывал мысль и волю человека на энергическую деятельность, но хотел нарочито парализовать все его стремления, погрузить его дух в состояние покоя, сонной невозмутимости и апатии. Теория атомов, развитая в древности, оставалась бесплодной для знания, пока не были открыты и приведены в определенные математические формулы законы механики; поэтому она получила в древности значение преимущественно нравственное. Материалист успокаивал свое сердце учением, что мир равнодушен к судьбам человека, что человек не должен возмущать свой внутренний покой представлениями будущего, которого он по истине не имеет, или сознанием тяжелых умственных и нравственных задач, которые предлагались бы ему объективным свойством мира; вместо этих тревожных стремлений, которые были бы неизбежны, если бы мир был явление разумное, он должен заключиться в свои личные интересы и искать покоя и удовольствия как последней цели своего личного существования и как высочайшего блага своей частной души, потому что благо как нечто объективное, как содержание мира не существует: мир материален, он управляется необходимостью или случаем, а не умственными или нравственными идеями. Как этот материализм хотел успокоить тревожные стремления человека к истине и добру как к задачам, вытекающим из неведомого существа мира, и собственно для этой цели он учил, что «истина сокрыта в колодезе», так современный нам хочет убедить нас, что истина совершенно открыта для человека, что знанию человека все доступно, все прозрачно, потому что во всецело материальной природе вещей нет таких непроницаемых сторон, которые необходимо было бы отчислить из светлой области знания в темную область чувствований, поэтических чаяний и религиозного вдохновения. Всего нагляднее представляется это различие в том, что древний материализм хотел остановить порывы метафизики, тогда как новейший хочет обогнать ее и идти далее: он упрекает метафизику в том, что она слишком рано указывает человеку опорные пункты, далее которых он не может проникать своим сознанием; он видит в метафизических идеях успокаивающие

мечты, которые надеется разогнать, поступая при изъяснении действительности все далее и далее и не останавливаясь ни на одном явлении как на простом и неразложимом. Таким образом, этот материализм выражает, конечно, своеобразно и отчасти характер и направление нашей эпохи, рефлексивной, стремящейся проникнуть светом знания все, что доселе было дорого для нас именно своею непосредственностью, стремящейся все вывести, все изъяснить, все понять, и в развитии форм духовной жизни по возможности опираться на началах знания, не представляя этого развития непосредственным и неясным духовным инстинктам или столько же безотчетным, хотя часто прекрасным, требованиям сердца. Ум поэтический и дух религиозный первее всего имеют полное основание жаловаться на эту прозаическую, рассудочную жизнь и на эту философию материализма, для которой мир есть нечто слишком сухое и бедное, слишком рассеивающееся для того, чтобы человеческий дух, ищущий сосредоточенности и жизни, мог привести в ясность свои задачи и нужды посредством познания окружающих его явлений. Однако же если этим уже указывается ограниченность материализма и его неспособность удовлетворить всесторонним духовным требованиям человека, то, с другой стороны, как видно из предыдущего, он не может служить признаком упадка мышления и интеллектуального развития нашего общества...

Было бы слишком долго повторять все возражения, какие были сделаны против мнимого факта, на котором материализм надеется построить свое здание. Если для него не имеет значения всецелая несоизмеримость явлений психических и физических и единство понимающего сознания; если, далее, он говорит о внутреннем и внешнем в человеке в том физическом смысле, как мы говорим о внутренней и внешней стороне дома; если, наконец, в помощь к процессам физическим он присоединяет процессы химические, то в первом случае он признает все содержание внутреннего чувства явлением, или вторичным качеством, которое имеет бытие для другого, а в последних двух случаях он превращает процессы, имеющие бытие для другого, в бытие для себя или явления внешнего воззрения в явления внутреннего непосредственного самовоззрения. Мы спросим здесь, почему, однако же, защитники этой теории так глубоко убеждены, что они имеют определенный факт там, где по самой натуре вещей не может быть открыто никакого подобного факта. Если мы не будем давать значения тому обстоятельству, что некоторые из них очень мало знакомы с собственным делом, с особенною задачею и особенными методическими приемами философии, то это признание факта механической причинности в области, недоступной

для средств механического исследования, получит свой особенным смысл среди стремлений нашего времени и нашего образования. С тех пор как в положительных науках распространилась ничем не оправданная вера в вечность физических теорий, стали говорить о той вожделенной будущности, когда эти теории обнимут всю безграничную действительность и когда уже поэтому не окажется нужды в философии с ее изменчивыми идеями. Выше мы видели, как обширную и безграничную представляется идея знания с точки зрения абсолютной механики. Только для осуществления этой идеи предстоит крайняя необходимость найти механически сложенный мост из области посредственного внешнего воззрения в область непосредственного внутреннего самовоззрения. Пока этот переход не найден, пока он не указан как достоверный факт, до тех пор вечные физические теории, как очевидно, будут иметь огромное значение гносеологическое и самое ничтожное метафизическое; следовательно, открытия физики, несмотря на свое необыкновенное расширение, несколько не будут стеснять той области подлинного бытия, которую освещает метафизика своими изменчивыми, но все же светящимися огнями. Поэтому защитники материалистической теории должны употреблять все усилия для указания фактического перехода от явлений физических к психическим, если они не должны расстаться с своей блестящей идеей знания. В противоположность этой теории всезнания, философия выступает – чтобы употребить здесь сократическое выражение – из сознания незнания. Кто не выяснил себе этого начала философии, для того и в самом деле покажется она чудовищным предприятием человеческого ума, стремящегося отыскать ключ к мирозданию. Изъясняемый ею предмет дан в том же самом опыте, внутри которого движется и механическое естествознание. Только она выступает из предположения, что как в действительности нет такого сплошного механизма, который держался бы сам на себе и не предполагал бы идеальных отношений, так и в знании метода, изъясняющая явления из внешних причин, должна быть завершаема изъяснениями явлений из идеи. Основной факт, которым оправдывается это направление философии, как и необходимость ее в области знания, есть факт самосознания, потому что здесь внезапно наше отношение к предмету становится внутреннее, непосредственное, тогда как во всех других опытах мы смотрим на предметы со стороны, как на что-то внешнее, открытое нам не прямо и не изнутри. Поэтому может случиться, что борьба за этот особенный факт, где бытие превращается в знание и признание бытия, всегда будет продолжаться между естествознанием и философией, и временная победа одной из этих наук будет зависеть не столько от ее

научных сил, сколько от того общего настроения современного образования, которое будет видеть свои интересы преимущественно в этой торжествующей науке. Мы здесь не говорим о других важных основаниях, которые обуславливают необходимость философии. В настоящем случае мы только изъявляем сомнение, чтобы люди когда-либо в будущем могли сравниться с теми богами, которые, по Сократу, не чувствуют нужды в философии, потому что они все знают.

В самом деле, предположим, что спорный факт, полный причинной зависимости душевных явлений от физиологических, был бы оправдан научным образом, – то и в этом крайнем случае мы имели бы еще только частную науку, которая не была сама по себе достаточным основанием для материалистической метафизики; следовательно, и в этом крайнем случае оставалось бы место для философии как науки со своими особенными приемами, которые будут отличаться от метода естествознания. Выше мы развили это положение вообще и хотели показать, что самая точная наука еще не дает непосредственно метафизической мысли, так что материалистическое мирозерцание еще не оправдало бы себя пред философией, если бы оно защитило с научною строгостию тот спорный факт, о котором идет здесь дело. Положение это не покажется здесь странным для того, кто вспомнит, что метафизика большею частью не признавала психологического дуализма, который нельзя преодолеть на почве опыта, что для нее материальное было необходимым, феноменальным предположением духовного, и что, однако же, из-за одного этого она еще не была материалистическою. Явление это происходило в истории философии оттого, что метафизика не только должна признать фактическую связь явлений, но и оправдать внутреннюю возможность этой связи. Повторяем, что в этом заключается одна из ближайших задач философии. Хотя и частные науки занимаются решением этой задачи каждая в своей области, однако – не всегда и не вообще; и они в самом деле довольствуются очень часто признанием постоянной связи в явлениях, которая для них служит внешним, достоверным признаком их внутреннего необходимого соотношения, как это доказывал Юм, отрицавший, впрочем, возможность знания этой внутренней необходимости...

Мы здесь не имеем намерения показывать выгоды этого реалистического воззрения; мы только хотим сказать с этой точки зрения наше последнее слово о материализме. Именно с разных сторон доказывали, что материализм, как бы мы ни думали о его внутреннем или научном достоинстве, все же выступал и выступает как представитель и защитник некоторых весьма важных и существенных интересов человечества.

Противоречить этому – значило бы не замечать самого достоверного факта истории. Если всякая теория, как бы она ни была односторонна, может приводить нас к открытию фактов и явлений, которых без нее мы могли бы не заметить, или может указывать на особенное достоинство некоторых явлений, которое с иной точки зрения могло оставаться непонятным, если значение всех и всяких философских теорий, помимо высших соображений, заключается уже в том, что каждая из них, как руководящая и определяющая мысль, понуждает нас обозреть на беспредельном поле опыта такие пункты и такие места, которые при другой теории мы могли бы миновать, чтобы остановиться на пунктах и местах других, – то материализм именно обозревал то или давал цену тем фактам, каких не могла ни обозреть, ни оценить философия идеализма. Как доказывают факты и как следует отчасти из принципа материализма, его исследования всегда совершались на почве физики. Расширение физики как науки далее тех узких границ, внутри которых она была разрабатываема естествоиспытателями, составляет ту заслугу материализма, из которой легко могут быть выведены его другие заслуги. Идея абсолютной физики составляет тот основной его недостаток, из которого могут быть изъяснены его другие недостатки...

Из противоречащих толков о достоинстве современной философии выступает определенное убеждение о широком развитии материализма, который и действительно в настоящее время надеется при помощи законов механики получить научное достоинство и закончить стремления человеческого разума к построению системы целостного мирозерцания. Кроме психических мотивов, он находит опору в популярном понимании философии и в популярном скептицизме, потому что если первое теряет из виду собственное дело, собственную задачу философии, то последний отсылает философию к опыту, к воззрению, где мысль работает легко и удобно и где вместо всякой загадки бытия она встречает только частные определенные задачи. В этих обстоятельствах материализм понимает задачу философии как задачу физики; и хотя он не имеет для своей теории фактического оправдания в физиологии, хотя он еще менее может доставить своим идеям оправдание внутреннее или логическое, однако указание многосторонней фактической связи между явлениями физиологическими и душевными, как и определение причинных отношений между явлениями вообще, составляет научное содержание его теории. Между тем эти научные данные могут вести к философским результатам только при определенных условиях или предположениях. Не говоря об эстетических и моральных требованиях, которые и с своей стороны должны определять судьбу метафизики, мы

указали только на условия простейшие и ближе лежащие к опыту. Как мы видели, этим условиям противоречит понятие чувственного воззрения как чего-то постороннего для субъекта, какого-то в себе сущего и потому способного изъяснить этот субъект и его сознание; далее, понятие безусловного механизма и причинных отношений, будто бы способных начать бытие мира вообще, а не только определять изменения в системе уже существующего мира явлений. Если последние условия механизма, каковы тяжесть, непроницаемость, инерция и т.д., не должны быть абсолютными началами бытия вообще, если о них еще нельзя сказать, что они есть, потому что они есть, – то философия имеет право изъяснять механизм как нечто зависимое, не первоначальное и самый закон причинности поставить под идею бытия, под идею сущности, которая должна быть определяема на основании других соображений, не вытекающих непосредственно из начал и оснований физики. Образцы такого истинного реализма мы имеем в философиях Гербарта, Бенеке, Шопенгауэра и Лотце; а материализм, изъясняющий явления как, большие вещи – из меньших, но таких же точно вещей (атомов), есть пока теория физического атомизма, которая ожидает еще метафизики. Наконец, что психологический дуализм, который в области опыта нельзя преобладать, не ведет необходимо к дуализму метафизическому, это мы только предположили, потому что материалистическая теория направлена в истине не против этого дуализма, а против постоянного учения философии, что мир имеет другое, другими качествами, другими отношениями определенное содержание, нежели какое дано в эмпирическом и потолику субъективном воззрении. С этими ограничениями материализм входит в новейшую философию как момент в ее реалистическом развитии. Признать определенное условное право этого материалистического воззрения, указать ему определенное место целостной мысли о мире, – таково одно из выдающихся стремлений новейшей философии. Как мы видели, позднейший материализм возник по поводу определенных недостатков в прежней философии. Но если справедливо, что теперь сам он пополняет свои недостатки воззрениями и идеями философии новейшей, то это явление, как бы ни казалось оно незначительным, указывает, что философия все же подвигается вперед в разрешении тех трудных задач, которые оставляются на ее долю всеми положительными науками.

Юркевич П. Д. Философские произведения. М., 1990. С. 193-244 (с сокращениями).

Михаил Александрович БАКУНИН
(1814-1876)

О философии

Статья первая

Нигде так сильно не является разногласие, составляющая существенный характер нашей современной литературы, как в вопросе о философии: одни утверждают, что философия есть действительная, высшая наука, разливающая свет на все отрасли знания и требующая положительного изучения; другие же, напротив, уверяют, что она не более как сброд фантазий, пустая игра воображения, мешающая развитию других положительных наук. Одни говорят, что человек, занимающийся ею, – погибший человек, потому что она отрывает его от всякой действительности, убивает в нем всякое верование, поселяет в нем сомнения и из здорового, крепкого, для себя и для общества полезного человека превращает его в болезненное, фантастическое и решительно бесполезное существо; другие же, напротив, утверждают, что философия есть единственное средство к уничтожению всякого сомнения, всякой духовной болезни, единственное средство к примирению человека, уже подпавшего раз пагубному влиянию скептицизма, с действительностью, с небом и землею.

Откуда же это противоречие и есть ли возможность разрешить его? Разрешение же его должно интересоваться всякого благомыслящего человека, всякого друга просвещения, потому что польза, обещаемая с одной стороны, и вред, представляющийся с другой, так сильны и резки, что не могут не обратить на себя внимания. Этот вопрос – один из важнейших вопросов нашего времени, и потому всякий, принимающий участие в нашем родном, русском просвещении, должен по мере сил своих способствовать к его разрешению.

Одна из главных причин недоразумения есть; большей частью неопределенность понятий и выражений, и поэтому мы постараемся прежде всего определить, что такое философия, для того чтоб потом основываясь на определенном понятии ее, быть в ее состоянии разрешить два другие вопроса: полезна ли философия и возможна ли она?

Что такое философия и в чем состоит ее предмет – вот первый вопрос, представляющийся нашему исследованию. Философия, в переводном смысле этого слова, значит «любомудрие» – выражение, которое и до сих пор еще употребляется некоторыми из наших писателей, но оно слишком неопределенно; любить мудрость может всякий, не будучи

философом и не занимаясь философией как наукою. Весьма жалко было бы, если бы мудрость и любовь к ней были исключительным достоянием только малого числа людей, занимающихся философией, и оставались бы недоступными для прочих. Эти прочие составляют большинство человеческого рода, а человеческий род, на какой бы ступени развития не был, жаждет мудрости и не может существовать без нее. Есть практическая мудрость, вытекающая из религиозного образования человека и составляющая одну из существенных основ государственного благосостояния: это – мудрость семьянина, мудрость члена гражданского общества, государственного человека, приобретаемая религиозным воспитанием, познаниями и опытом жизни. Петр Великий не был философом, но никто не станет отрицать в нем мудрости и любви к мудрости. Явно, что слово «любомудрие» образовалось в Греции, когда наука не приобрела еще самостоятельности и когда под именем философии разумели политическую мудрость и житейское благоразумие вообще. Слова «философия» и «философ» употребляются у нас еще и в другом значении; чиновник, не получивший ожидаемого им награждения, говорит: «Я – философ и с твердостью переносу свое несчастье!» Нисколько не думая отрицать твердости и высокой добродетели, необходимых для такого геройского поступка, мы все-таки не можем принять этого совершенно особого значения слова «философия» в круг нашего исследования.

С некоторого времени у нас ввелось обыкновение – и это обыкновение перешло к нам от французов – называть всякое резонерство философиею; в этом смысле и Фамусов, рассуждая о худых последствиях невоздержности, говорит:

Куда как чудно создан свет!
Пофилософствуй – ум вскружится!
То бережешься, то обед;
Ешь три часа, а в три дня не сварится!»¹

Во Франции беспрестанно выходят романы под названием «Roman philosophique»²; некоторые из них полны глубокого интереса, проникнуты важнейшими вопросами настоящего времени, но не менее того они не имеют права на имя философских: можно быть весьма образованным человеком, принимать сильное и счастливое участие в вопросах времени и не быть философом. Философия есть положительная, сама в себе заключенная и последовательная наука; резонерство же и обыкновен-

¹ А. С. Грибоедов. *Комедия* «Горе от ума».

² Roman philosophique (*франц.*) – философские романы.

ные рассуждения не имеют и не могут иметь притязания на наукообразную последовательность. Это обыкновение, образовавшееся в школе так называемых французских философов XVIII века, имело самые вредные последствия для философии: пустое резонерство, поверхностные и легкомысленные рассуждения произвели много зла на земле и погубили многих молодых людей, оторвав их от существенных и важных интересов жизни и предав их пагубному владычеству необдуманного и бессмысленного произвола. А так как они облекались в громкое имя философии, то вследствие этого и произошло общее мнение, что философия, безбожие и либерализм, опасные для благосостояния общества, – одно и то же. Но это мнение совершенно ложно: человек, истинно мыслящий и действительно занимающийся философией, не может быть легкомысленным и никогда не будет безбожником и пустозвонным либералом; первый действительный шаг в области истинной философии есть уже отрицание всякого легкомыслия; в постепенном развитии своем философия может впадать в односторонность, в отвлечение, но ее стремление всегда важно, всегда проникнуто глубокою любовью к истине: такая философия никогда не будет безбожною и анархическою, потому что сущность ее жизни и ее движения состоит в искании Бога и вечного, разумного порядка.

Что же такое философия? Некоторые германские писатели XVIII века стали называть ее «светскою, мирскою мудростью» (Weltweisheit) в противоположность религиозному знанию. Но это выражение также неопределенно и не обнимает всей сущности философии: практический опыт жизни, знание света и частных обстоятельств, составляющих временное состояние его, могут быть также названы мирскою мудростью, несмотря на то что они не принадлежат к философии и возможны вне ее. Вероятно, ей дали это название потому, что она не ограничивается только одним отвлеченным бесконечным, но обнимает и конечную сторону жизни – природу и человеческий дух; но ведь она не ограничивается также и конечным, обращается к нему не для того чтоб остановиться на нем, но для того чтоб понять связь, единство Его с бесконечным. Предмет философии не есть отвлеченное конечное, точно так же как и неотвлеченно-бесконечное, но конкретное, неразрывное единство того и другого: действительная истина и истинная действительность.

Итак, философия есть познание истины. Гегель, увенчавший систему своею величественное здание новой германской философии, говорит, что теперь настало время, когда философия из любви к мудрости, к истине должна превратиться в действительное знание истины. Но и это определение для нас еще не довольно определено. Что подразумевает-

ся здесь под словом знание и истина? Когда я знаю, например, что в моей комнате стоит стол, то ведь это также – знание истины, потому что стол в самом деле стоит в моей комнате; по крайней мере многие из наших врагов философии не посовестятся назвать такое знание истинным; а если и посовестятся, то не иначе как изменив своему тайному началу, состоящему в отрицании всякой другой истины, кроме бесконечного многообразия случайностей, наполняющих мир. Что стол стоит в моей комнате, может быть совершенно справедливо, но это не более как случайность, не заключающая в себе никакого интереса и не имеющая права на название истины, ибо одно из главных определений истины есть необходимость.

В наше время многие отрицают пребывание «необходимости» в истории, а следовательно, видят в ней не более как пустую игру случайностей и, несмотря на это, утверждают в пользу истории и называют ее наукою. Но в этом заключается явное противоречие: если всемирная история в самом деле – не более как бессмысленный ряд случайностей, то она не может интересовать человека, не может быть предметом его знания и не в состоянии быть ему полезною. Случайным называем мы то, что не имеет в самом себе необходимой причины своего пребывания, что есть не по внутренней необходимости, но по внешнему, а следовательно, и случайному столкновению других случайностей. Случайно то, что могло бы быть и иначе. Интересовать же человека и быть ему полезным может только то, что имеет в себе какой-нибудь смысл, какую-нибудь связь; а если эта связь случайна, то все человеческое знание низ ложится до мертвой работы памяти, обязанность которой будет заключаться единственно только в сохранении случайного пребывания случайных, единичных фактов друг подле друга и друг за другом. Но сущность всякого познания состоит именно в самостоятельности духа, отыскивающего внутреннюю необходимую связь в фактах, разрозненных во внешности; дух приступает к познанию с верою в необходимость, и первый шаг познания есть уже отрицание случайности и положение необходимости. И потому, говоря об истине, мы будем уже разуметь под этим словом не что-нибудь случайное, но необходимую истину.

Итак, философия есть знание абсолютной истины. Нам известно уже значение слова «истина», но неизвестно еще значение философского знания: в чем состоит оно и какая разница между ним и обыкновенным знанием? Вот вопрос, от разрешения которого зависит теперь разрешение нашего главного вопроса, вопроса о сущности философии. Понятие абсолютной истины, определенное нами перед сим, должно руководить нас в предстоящем исследовании; абсолютная истина есть

единственный предмет философии, и потому только знание, обнимающее ее, может быть названо философским. Вследствие этого знание случайностей, какого бы рода они не были, уже само собою исключается из области философского ведения, главный предмет которого есть всеобщее и необходимое. Однако ж и эмпирические науки также не имеют другого предмета: они также не останавливаются на явлениях, на особенных фактах, но отыскивают в них всеобщие и необходимые законы и причины их существования. Какая же разница между ними и философией?

Для пояснения этого вопроса рассмотрим сперва сущность эмпиризма. Какое главное основание его? Опыт! Только то достоверно, что входит в область опытного созерцания человека – вот его основное положение; но что же входит в область опыта? То, что дается нам нашим внешним или внутренним созерцанием, – внешние и внутренние впечатления; это – первое. Но непосредственное созерцание не ограничивается впечатлениями; оно группирует их вокруг единичных центров и дает нам множество отдельных предметов, имеющих многообразные качества и расположенных друг подле друга в пространстве и друг за другом во времени; впечатления, данные нам прежде всего чувствительным созерцанием, не остаются разрозненными, но собираются вокруг нескольких центров и составляют различные качества различных предметов. Например, я вижу перед собою несколько домов, дорогу, небо и т.д.; если я стану разбирать это созерцание, то увижу, что в нем заключаются две вещи: во-первых, впечатления: желтое, красное, синее и другие – и, во-вторых, собрание всех этих впечатлений вокруг нескольких центров, составляющих друг от друга отдельные и друг для друга внешние предметы: дома, небо, улицы и так далее, качества которых явились мне сначала в форме различных впечатлений. Вследствие этого мы должны различать в чувственном, внешнем созерцании две различные деятельности: 1) восприимчивость, дающая нам многообразие впечатлений в пространстве и во времени, и 2) самостоятельность мысли, приводящей многообразное к единству, принимающей различные впечатления как качества единичных, друг от друга отдельных, предметов и сознающей взаимное отношение этих предметов. Одним словом, в самом чувственном созерцании, как в созерцании человека, уже является бессознательная деятельность мысли (т.е. всеобщего), бессознательная, потому что чувственное созерцание само не сознает ее: обе деятельности в нем одновременны и неразрывно связаны. То же самое происходит и во внутреннем, духовном созерцании человека, в которой весь духовный

мир его является ему непосредственно; внутреннее созерцание дает нам также разнообразие внутренних ощущений, гнева, радости, страдания, влечения и т.д. и приведение этого многообразия к единству. Таким образом, знание наше, основанное на непосредственном созерцании, есть сначала представление отдельных и друг от друга различных предметов чувственного и духовного мира...

Всякий человек образуется под непосредственным влиянием того общества, в котором он родился; но каждая нация, каждое государство имеет свою особенную нравственную сферу, свои поверья, свои предубеждения, свою особенную ограниченность, зависящие отчасти от его индивидуального характера, от его исторического развития и от отношения его к истории целого человечества. Каждое государство и каждое время имеют свои особенные понятия и свое особенное воззрение на жизнь; мало того, всякое государство распадается на несколько различных общественных слоев, и каждый из них имеет в свою очередь свою индивидуальную черту, свою собственную особенность — так что обыкновенное сознание развивается под самым многообразным влиянием. С воспитанием ума всасывает оно в себя готовые понятия, готовую нравственную и духовную сферу, и деятельность его, по сущности своей, всегда одинаковая, видоизменяется физическими и духовными обстоятельствами, окружающими его. Вследствие этого развитие его всегда бывает ограничено и односторонне, и оно не может быть способно к объятию абсолютной истины.

Обыкновенное сознание приступает к действительному, естественному и духовному миру с бессознательною верою, что во внешнем многообразии этого мира пребывает абсолютная истина; вера эта является в том, что она не останавливается на равнодушном и случайном многообразии единичных предметов, но отыскивает в нем единство, всеобщность и необходимость; она не удовлетворяется каким-нибудь частным законом или многими относительно-всеобщими законами, но старается привести их ко всеобщему, абсолютному единству. Бессознательна же эта вера потому, что она не имеет ясного сознания о единственной и главной цели своего стремления, об абсолютной истине.

Сообразно с сущностью своею обыкновенное сознание может находить абсолютную истину только в ее многообразном проявлении, и для этого оно должно бы было объять все бесконечное разнообразие действительного мира; но оно бывает всегда односторонне и ограничено и обнимает только весьма малую часть этого разнообразия, часть, нуждающуюся в дополнении другими частями, а потому оно и не может объять абсолютной истины. Чем же помочь этому злу

и каким образом уничтожить ограниченность естественного сознания? В этом заключается главная задача эмпиризма как науки – и мы разберем его как можно подробнее, для того чтобы узнать, точно ли достигает он своей цели.

Эмпиризм как наука освобождает естественное сознание от его индивидуальной ограниченности, от его предрассудков и вырывает его из оков определенного пространства и определенного времени, обогащая опытность его опытами, сделанными в других пространствах и в другие времена; он по возможности расширяет духовную сферу обыкновенного сознания; но для того, чтобы достичь своей цели, он должен уничтожить всякую ограниченность, всякую односторонность, должен обнять все бесчисленные прошедшие, настоящие и будущие явления действительного мира. Может ли он это сделать? Нет – и следовательно, эмпиризм также неспособен к познанию абсолютной истины; он сильно способствует к расширению кругозора обыкновенного сознания; он не ограничивается опытами одного народа или одного определенного времени и старается обогатиться опытами всех народов и всех времен; но и это стремление имеет свою границу, и до тех пор, пока граница эта существует, познание абсолютной истины невозможно. Как же уничтожить ее? И есть ли средство для совершенного освобождения эмпиризма, опытного знания, от конечных условий пространства и времени? Решительно нет. Кроме этого мы сказали выше, что одно из существенных различий между обыкновенным сознанием и эмпиризмом состоит в том, что обыкновенное сознание познает без всякой наукообразной последовательности; эмпиризм же старается облечь познания свои в наукообразную форму. В чем же состоит эта наукообразность? В совершенно внешнем и более или менее произвольном подразделении; для того чтоб убедиться в этом, стоит только посмотреть любой курс физики, химии и даже логики, потому что и логика в том виде, в каком она у нас обыкновенно преподается, принадлежит также к разряду чисто эмпирических наук; в физике, например, рассматриваются сперва «общие свойства тел и их различные состояния», потом «общие понятия о равновесии и движении», потом переходят к статике, к динамике, а потом говорят о твердых телах, в особенности о их фигуре, скважности, непроницаемости и пр., а потом о капельно-жидких телах, о воздухообразной жидкости и так далее; и не должно думать, чтоб все эти статьи имели между собою необходимую связь, чтоб последовательность их была условлена необходимым развитием самого познаваемого предмета, одним словом, чтоб они составляли органическое, живое целое, проникнутое одной всеобщей

мыслью. Нет, это не более как сброд частных сведений, не более как совершенно произвольная и внешняя классификация, способствующая только к возможной полноте и точности фактов и частных законов, проявляющихся в них. Но такое знание, такая наукообразность не могут удовлетворить человека: он стремится к полному разумению окружающей его действительности, стремится к уничтожению чуждой ему внешности, а единственное средство для достижения этой цели есть полное разумение; знание же многообразных фактов или хоть многообразных частных законов не есть еще истинное знание: истинное знание ищет всеобщего единства, пребывания единой всеобщей мысли в предстоящем ему многообразии, и, пока животворящая мысль эта не найдена, пока многообразие не проникнуто ею и не стало прозрачным для познающего духа, до тех пор еще истинное знание не осуществилось, и дух человека, познающий как эмпиризм, как опытное знание, не останавливается на внешнем и непонятном для него многообразии, но стремится уничтожить бессмысленную кору, мешающую ему проникнуть в него: эмпиризм становится теориею.

Между чистыми эмпириками и теоретиками существует давнишний, для них еще и до сих пор не решенный спор: теоретики говорят, что эмпиризм, ограничиваясь только одними фактами, погружается в букву, не находит в ней духа и не удовлетворяет главной потребности знания, требующего мысли, а не сухих фактов; эмпирики же утверждают, напротив, что теории ни к чему не служат и что они не более как фантастические блески, ни на чем не основанные и ничем не доказанные. Как те, так и другие правы. Мы заметили выше, что одни факты, не проникнутые единою и всеобщю мыслью, не могут удовлетворить познающего духа, и потому мы не можем не согласиться с упреками, делаемыми сухим собирателям фактов; и нам остается только исследовать сущность и образование теории, для того чтобы убедиться, что и сухие эмпирики, восстающие против теории, в свою очередь правы. Как образуются теории и что служит им исходным пунктом? Опытное наблюдение, многообразие фактов и частных законов, подмеченных эмпиризмом. Но многообразием не удовлетворяется знание: знание требует единства в многообразии; что же делают теоретики для того, чтобы найти его? Они прибегают к гипотезам, к предположениям: теоретик принимает какую-нибудь мысль, какое-нибудь общее определение за начало и старается объяснить и вывести из него все факты, все частные законы, входящие в состав занимающей его науки. Но чем же может быть доказана истина, необходимость такой мысли? Она не более как предположение: с одной

стороны, она основывается на том более или менее обширном опытном наблюдении, из которого она извлечена, с другой же стороны, она оправдывается тем, что большая часть фактов в самом деле под нее подходит. Другое доказательство для нее невозможно. Если бы теоретик захотел доказать истину и необходимость своего главного начала, не прибегая к наблюдениям и не поверяя его опытом, если бы он решился отвлечь от эмпирической достоверности, тогда бы лишился последнего основания, последней точки опоры, потому что доказать мысль можно только двояким образом: или *a priori*, в чистой области мысли, и такое доказательство предполагает философию, или *a posteriori*, указанием в опытном мире фактов, соответствующих мысли. Но теоретики точно так же, как и сухие эмпирики, не только что мало знакомы с философией, но большею частью пренебрегают ею, и потому им остается только доказательство *a posteriori*, проверка мыслей, начал своих, посредством опытного наблюдения; но наблюдение, служащее основанием, источником для всеобщего начала теоретика, более или менее ограничено, односторонне; и потому начало это не может иметь притязания на абсолютную всеобщность и действительно только для той части действительного мира, из которой оно произошло и получило свое значение, так что если бы даже все доньше известные явления подходили под какое-нибудь начало, то никогда нельзя быть уверенным, что впоследствии не явились бы такие факты, которые не опровергли бы его совершенно. Кроме того, понять какое-нибудь явление или какой-нибудь частный закон – значит понять необходимое происхождение и развитие его из единого и всеобщего начала; но для этого необходимо познание всеобщего как чистой, самой из себя развивающейся мысли; а это опять входит в область философии и невозможно без философии, и потому теоретики обыкновенно подчиняют только особенное отвлеченному, всеобщему, так что особенности остаются равнодушными друг к другу и к своему всеобщему.

Наконец, ни одна теория не удовлетворила еще и не могла удовлетворить главного требования познающего духа: ни одна не проникла еще до того единого и всеобщего начала, на котором была бы основана и из которого могла бы быть развита вся бесконечность действительного как естественного, так и духовного мира; до сих пор были особенные теории электричества, света, магнетизма и так далее; с грехом пополам были так же теории, обнимающие целые науки, как-то: теория физики, терапии, права, искусства и проч.; но не было ни одной, которая бы обняла всю полноту действительного мира. Откуда же эта ограниченность? Причина сего недостатка заключается в том, что

все теории без исключения не только не выходят из области эмпиризма, но суть необходимые продолжения его: всякий теоретик есть вместе и эмпирик. Эмпиризм, опытный мир, есть начало и конец всякой теории; теоретик отправляется от многообразия действительного мира, открывает в уме своем мысль, которая, по его мнению, должна объяснить и обнять этот мир, и возвращается к тому же многообразию, чтоб найти в нем оправдание и доказательство своей мысли. Теория есть необходимый результат и, если так можно выразиться, цветок эмпиризма, так что нет теоретика, который бы не был эмпириком, точно так же как нет эмпирика, который бы не был теоретиком; и борьба между эмпириками и теоретиками есть не что иное, как внутренняя борьба, внутреннее противоречие эмпиризма в самом себе, — борьба, в которой он сознает свою собственную ограниченность, свою собственную недостаточность и указывает за себя, — на высшую область знания, на умозрение. В этой борьбе с самим с собою эмпиризм бывает часто к самому себе несправедлив, но отвлеченность и крайность есть неизбежная участь всякой борьбы, а потому и эта несправедливость понятна. Таким образом, упрекая совершенно справедливо сухих собирателей фактов в том, что, оставаясь при мертвом и равнодушном многообразии, они не удовлетворяют главной потребности познающего духа, теоретики позабывают часто, что и такие работники необходимы, что без них точное и полное знание фактов было бы невозможно; такие ученые суть труженики, поденщики, собирающие материалы для великого храма истинной науки; они не понимают и не могут понять ни целостности плана, ни величественной красоты того здания, к воздвижению которого так сильно способствуют, и были бы достойны всякого сожаления, если б судьба, обрекая их на черную работу, не наделила их вместе какою-то странною любовью, привязанностью к мертвой букве, привязанностью, которая заставляет их рыться в пыли и в поте лица своего искать внешних выражений духа, не заботясь о их внутреннем значении...

Случайности не имеют права на участие человека, и только истинная действительность, только действительное осуществление мысли может интересоваться его; что само преходяще, то не может возвыситься над преходящим и уничтожается вместе с ним; но человек, с одной стороны конечный, с другой стороны бесконечен, и вся премудрость его и все назначение его жизни состоят в том, чтоб в последовательности своего развития он отрывался от всякой случайности и внешности и, возвысившись над конечностью мира сего так же, как над своею собственною конечностью, привязался к тому, чего «ни моль ни ржа не истреб-

ляют». И потому недостаток эмпиризма состоит не в том, что, отвлекая от единичных и преходящих фактов, он оставляет их, как ничтожные и несущественные, и возвышается над ними до всеобщих и неизменяемых законов, — напротив, в этом заключается его достоинство, — но в том, что он не в состоянии понять единство законов между собою, в том, что, получая их через отвлечение от фактов, он не понимает, каким образом они выходят из своей отвлеченности и осуществляются в действительном мире. Недостаток же этот происходит оттого, что познает их не как чистые мысли, но из опытного наблюдения.

Итак, если возможно знание, познающее законы не из опыта, но а priori, как систему чистых мыслей, имеющих свое необходимое развитие независимо от опыта, то такое знание вполне удовлетворяет всем требованиям познающего духа. Во-первых, оно будет иметь характер необходимости, недостающей эмпиризму, так что развитие мысли как необходимое будет вместе и доказательством ее. Во-вторых, оно будет действительно всеобщим знанием, потому что не будет восходить, подобно эмпиризму, от единичного и особенного к отвлеченному и непонятному всеобщему, но будет понимать особенное и единичное из собственного имманентного (присущего) развития всеобщего, так что ни одна особенность не вырвется из необходимости этого развития. Наконец, если действительный мир, в самом деле, — не что иное, как осуществленная, реализованная мысль, — а мы видели, что вера в пребывание мысли в действительности составляет сущность как обыкновенного сознания, так и эмпиризма, — то оно будет в состоянии объяснить тайну этой реализации, тайну, недоступную для эмпиризма. Такое знание есть философия...

Бакунин М.А. Избранные философские сочинения и письма. — М., 1987. — С. 138-157; 536-537.

2. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА У МЫСЛИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ

2.1. Образ человека в древнекитайской философии

С момента формирования древнекитайской философии закладывается ее гуманистическая сущность. Всегда в центре внимания оказывается человек во всем многообразии его состояний и внешних связей. Уже в III веке до н. э. Сюнь-цзы высшей ценностью мира называл человека, утверждая, что человек – воплощение наивысший одухотворенности в мире вещей. Идея единства, гармонии природы и человека пронизывает всю конфуцианскую метафизику. Учение о “совершенном человеке”, “человеке долга”, в котором личное и общественное существует в гармоничном единстве, характеризует древнекитайскую философию. В классическом конфуцианстве органично соединились метафизика с этикой, тезис о “моральном познании мира”, способности выявлять изначальное, “небесное совершенство”, обретать человеческие добродетели. Китайские философы традиционно занимались искусством управления государством, разрабатывали нормы социального поведения, формировали стереотипы массового сознания на основе ритуала и традиций.

Многие из этих идей актуальны и в наши дни.

***Задание.** Проанализируйте предложенные фрагменты древнекитайской мудрости.*

Определите, какие черты понимания человека наиболее существенны для восточных философов древности. Какие человеческие качества представляют наибольшую ценность?

ЛАО-СИ (VI в. до н.э.)

ТАО-ТЕ-КИНГ, ИЛИ ПИСАНИЕ О НРАВСТВЕННОСТИ

IV

Тао пусто, но когда его употребляют, то, кажется, оно не-
истощимо.

О, какая глубина! Оно начало всех вещей.

Оно притупляет свое острие, развязывает узлы, смягчает блеск
и, наконец, соединяет между собою мельчайшие частицы.

О, какъ чисто! Оно существуетъ предвечно, но я не знаю, чей оно
сынъ и предшествовало ли первому царю.

V

Небо и земля не суть любвеобильные существа. Они поступа-ютъ
со всеми вещами какъ съ соломенною собакой.

Святой муж не любвеобогатенъ: он поступаетъ с земледельцами,
какъ съ соломенной собакой.

Все, находящееся между небомъ и землей, похоже на кузнечный
мехъ.

Онъ (кузнечный мехъ) пусть, но неистощимъ, чемъ чаще наду-
вается, темъ больше выпускаетъ воздухъ.

Кто много говорить, тотъ часто терпитъ неудачу; потому лучше
всего соблюдать середину.

VI

Чистейший духъ безсмертенъ. Онъ называется непостижимой ма-
терью (самкой).

Ворота непостижимой матери — называются корнем неба и земли.

Онъ (т. е. чистейший духъ) будетъ существовать без конца. Кто хо-
четъ пользоваться им, тотъ не устанетъ.

VII

Небо и земля вечны.

Причина того, что небо и земля вечны, заключается в томъ, что они
существуютъ не для самихъ себя.

Вотъ почему они вечны.

Святой мужъ заботится о себе после другихъ, поэтому онъ легко
достигаетъ безопасности.

Онъ оставляетъ свое тело без всякой заботы, поэтому будетъ жить долго.

Кто не заботится о себе, тотъ весьма удачно совершить и свое личное дело.

VIII

Высшая добродетель похожа на воду.

Вода, давая всемъ существамъ обильную пользу, не сопротивляется ничему.

Она находится на том месте, котораго люди не видятъ, поэтому она похожа на тао.

Жить хорошо — для земли; сердце — для глубины; союз — для любви; слова — для доверья, управление — для благоденствия (страны); дела — для уменья; движение — для жизни.

Не ссорящийся не осуждается.

IX

Чтобы посуда была наполнена чем-нибудь, нужно держать ее твердо (без малейшего движения) и ровно.

Чтобы лезвие наострилось, нужно долго продолжать натачивание.

Когда домъ наполненъ золотомъ и драгоценными камнями, то невозможно сохранить его въ целости.

Кто достигнетъ чести и приобрететъ богатство, тотъ сделается гордымъ. Онъ легко забудетъ, что существуетъ наказание (за преступление).

Когда дела увенчаются блестящимъ успехомъ и будетъ приобретено доброе имя, то лучше всего удалиться (в уединение).

Вотъ это-то и есть небесное Тао (или естественное Тао).

X

Душа имеетъ единство, поэтому она не делится (на части). Кто вполне духовенъ, тотъ бываетъ смиренъ, какъ младенецъ.

Кто свободенъ отъ всякого рода знаний, тотъ никогда не будетъ болеть.

Кто любить народъ и управлять имъ, тотъ долженъ быть бездеятельнымъ.

Кто хочетъ открыть небесныя ворота, тотъ долженъ быть, какъ самка.

Кто делаетъ видъ, что много знает и ко всему способенъ, тотъ ничего не знает и ни к чему не способенъ.

Кто производить (вещь) и постоянно держать ее, тотъ ничего не имеетъ.

Не хвалиться темъ, что сделано, не начальствовать над другими, превосходя их, называется небесною добродетелью.

XI

Тридцать спиц соединяются в одной ступице (колесницы), но если она недостаточна для предназначенной цели, то их можно употребить для другой (воза).

Изъ глины делают домашний сосуд; но если она недостаточна для известной цели, то годится для другой.

Связывая рамы и двери, устраивают домъ; но если она недостаточна для этого, то из них можно делать домашнюю утварь.

Отсюда видно: что если вещь не годна для одной цели, то можно употребить ее для другой.

XII

Пять цветов ослепляют человека.

Пять звуков оглушают его.

Пять вкусов пресыщают его.

Верховая гонка и охота одуряют душу (сердце) человека.

Стремление к обладанию редкими драгоценностями влечет человека к преступлению.

Отсюда святой муж делает исключительно внутреннее, а не для глаз. Поэтому онъ удаляется отъ того и приближается к этому.

XIII

Почетъ и позоръ от сильныхъ мира (для мудреца) одинаково странны.

Собственное тело тяготит его какъ великое бремя.

Что значить: почетъ и позоръ от сильныхъ мира одинаково странны (для мудреца)?

Почетъ от сильныхъ мира – унижение (для мудреца), поэтому когда она достанется (ему), то (он) относится к ней, какъ къ совершенно презренной.

Вотъ это-то и есть: къ почести и къ позору отъ сильныхъ мира относиться какъ къ призрачному.

Что значить: собственное тело тяготит его (мудреца), какъ великое бремя?

Я имею потому великую печаль, что имею тело. Когда я буду лишень тела, то не буду иметь никакой печали.

Поэтому, когда мудрецъ боится управлять вселенной, то ему можно поручить ее; когда онъ сожалеетъ, что управляетъ вселенной, то ему можно отдать ее.

XIV

Предметъ, на который мы смотримъ, но не видимъ, называется безцветнымъ.

(Звукъ, который) мы слушаемъ, но не слышимъ – беззвучнымъ.

(Предметъ, который) мы хватаемъ, но не можемъ захватить, – мельчайшимъ.

Эти три (предмета) неизследимы, поэтому когда они смешаются между собой, то соединяются в одно.

Верхъ не ясенъ, низъ не темень. О, бесконечное! Его нельзя назвать именемъ.

Оно существуетъ, но возвращается къ небытию.

Оно называется формою (или видомъ) безформенною.

Оно также называется неопределеннымъ.

Встречаясь с ним, не видать лица его, следуя же за ним, не видать спины его.

Посредствомъ древняго Тао можно управлять жизнью настоящего времени.

Изследовать происхождение всего (или начало древности) называется нитью Тао.

XV

Древние, выдававшиеся надъ толпой, люди хорошо знали мельчайшее, чудесное и непостижимое.

Они глубоки, – постигнуть их невозможно.

Они непостижимы, поэтому внешность ихъ была величественная.

О, какъ они медленны, подобно переходящимъ черезъ реку!

О, какъ они нерешительны, подобно боящимся своихъ соседей!

О, какъ они осанисты, подобно гостящимъ въ чужомъ доме!

О, какъ они осторожны, подобно ходящимъ на тающемъ льду!

О, какъ они просты, подобно необделанному дереву!

О, какъ они пусты, подобно пустой долине!

О, какъ они мрачны, подобно мутной воде!

Кто сумеетъ остановить их и сделать ясными?

Кто же сумеетъ успокоить ихъ и продлить ихъ тихую жизнь?

Исполняющий Тао не желаетъ быть наполненнымъ.

Онъ же не удовлетворяется ничемъ, поэтому, довольствуясь старым и не обновляясь (душою), достигаетъ совершенства.

Лао Си. Тао-те-кинг, или Писание о нравственности / пер. с кит. Д. П. Конисси, под ред. Л. Н. Толстого, прим. С. Н. Дурылина. – М., 1913.

КОНФУЦИЙ (551-449 до н.э.)

ИЗБРАННЫЕ БЕСЕДЫ И АФОРИЗМЫ

Учитель сказал:

- Не радостно ль
Учиться и постоянно совершенствоваться?
- И не приятно ль
Видеть друга, идущего издалека?
- Не тот ли благородный муж,
Кто не досадует, что неизвестен людям.

Юцзы сказал:

- Редко бывает,
Чтобы человек, почтительный к родителям и старшим,
Любил бы нападать на высших,
И не бывает вовсе,
Чтобы тот, кто не любил бы нападать на высших,
Любил бы затевать смуты.
Благородный муж трудится над корнем,
С установлением корня рождается и путь.
Сыновняя почтительность и уважение к старшим
Это и есть корень милосердия!

Цзэнцзы сказал:

- Я на день себя трижды вопрошаю:
Остался ли я верен тем, для кого стараюсь,
И сохранил ли искренность в общении с друзьями,
И повторял ли то, что мне передавалось.

Учитель сказал:

- Если благородный муж не думает о сытости
И не стремится жить в покое,
Проворно служит, осторожно говорит
И исправляется от приближения к пути,
Он может называться любящим учиться.

Учитель сказал:

- Не печалься о том, что люди тебя не знают,
А печалься о том, что ты не знаешь людей.

Учитель сказал:

– Кто правит согласно добродетели,
Подобен северной звезде:
Стоит на своем месте
В кругу других созвездий.

Мэн Ицзы спросил о сыновней почтительности.

Учитель ответил:

– Это послушание!

Фан Чи вез в колеснице Учителя, и тот ему сказал:

– Когда Мэнсунь спросил меня о сыновней почтительности,
Я ему ответил: «Это послушание»!

Фань Чи спросил:

– Что это значит?

Учитель ответил:

– Служи родителям по ритуалу,
И приноси им жертвы далее по ритуалу!
Когда умрут — их погребут по ритуалу.

Цзыю спросил о сыновней почтительности.

Учитель ответил:

– Ныне почитать родителей –
Это значит уметь кормить.
Но и лошади, и собаки
Могут тоже получать пропитание.
Как же отличить одно от другого,
Если не будет самой почтительности?!

Цзыся спросил о сыновней почтительности.

Учитель ответил:

– Это когда трудно делать вид.
Когда же появляются дела –
И сын или младший брат берут о них заботы,
А появляется вино, еда —
И ими потчуют преждежденного,
Как можно это считать сыновнею почтительностью?!

Учитель сказал:

– Напрасно обучение без мысли,
Опасна мысль без обучения.

Учитель сказал:

– Ю!

Научить ли тебя знанию?

Что знаешь, то считай, что знаешь,

Незнание считай незнанием.

Это и есть знание.

Князь Скорбящий спросил:

– Как привести народ к покорности?

Конфуций ответил:

– Если возвышать прямых и отстранять кривых,

Народ сам покорится;

Если возвышать кривых и отстранять прямых,

Народ не покорится.

Учитель сказал:

– Приносить жертву чужому духу будет лезть,

А видеть должное и не исполнить – трусость.

Учитель сказал:

– Человеку и быть немилосердным:

Какой уж тут обряд?!

Человеку и быть немилосердным:

Какая уж тут музыка?!

Учитель сказал:

– Прекрасно там, где пребывает милосердие.

Разве достигнуть мудрости,

Если не жить в его краях?!

Учитель сказал:

– Лишенный милосердия

Не может долго оставаться в бедности,

Не может постоянно быть полным радости.

Милосердный находит в милосердии покой,

А мудрый в милосердии находит пользу.

Учитель сказал:

– Если стремиться к милосердию, не будет зла.

Учитель сказал:

– Знатность и богатство –

Это то, чего так жаждут;

Если я их обретаю незаслуженно,

Ими не пользуюсь.
Убожество и бедность –
Это то, что люди ненавидят;
Если я их обретаю незаслуженно,
Ими не гнушаюсь.
Как может благородный муж добиться имени,
Если отвергнет милосердие?!
Благородный муж даже на время трапезы
Не забывает о милосердии,
И в спешке – непременно и тогда,
И под угрозой – непременно и тогда.

Учитель сказал:

– Если услышать утром о пути,
То вечером и умереть не жалко!

Учитель сказал:

– С теми, кто устремляется к пути,
А гадкой пищи и одежды стыдится,
Не стоит разговаривать!

Учитель сказал:

– Благородный муж
Ничего не разрешает
И не запрещает в Поднебесной,
А соразмеряется со справедливостью.

Учитель сказал:

– Когда исходят лишь из выгоды,
То множат злобу.

Учитель сказал:

– Не печалься о том, что нет места,
А заботься о том, чем себя утвердить;
Не печалься о том, что никто не знает тебя,
А стремись быть тем, кого могут знать.

Учитель сказал:

– Благородный муж научен справедливостью,
Малый человек научен выгодой.

Учитель сказал:

– Увидев мудрого, стремитесь с ним сравняться,
Увидев недостойного, вникайте внутрь себя!

Учитель сказал:

– Служа отцу и матери,
Их увещай не слишком;
А видишь, что не слушают,
Их чти, им не перечь;
А будут удручать тебя, ты не ропщи.

Учитель сказал:

– При живых отце и матери
Далеко от них не уезжай,
А уедешь, непременно будь на одном месте.

Учитель сказал:

– Сыновией почтительностью можно назвать то,
Когда в течение трех лет не исправляют пути отца.

Учитель сказал:

Нельзя не помнить
Возраста отца и матери:
Чтобы не радоваться
И в то же время не бояться.

Учитель сказал:

– Благородный муж стремится говорить косноязычно,
А действовать искусно.

Учитель сказал:

– Добродетель не бывает одинокой,

У нее непременно есть соседи.

Кто-то сказал:

– Юн – милосердный человек, но говорить не мастер.

Учитель ответил:

– Зачем ему красноречивость?
Встречать людей хитросплетенной речью –
Значит вызывать в них ненависть.
Не знаю, милосердный ли он человек.
Но зачем ему красноречивость?

Афоризмы Конфуция / пер. И.И. Семененко. – М., 1987.

ДАОССКИЕ ПРИТЧИ

Станьте бесполезными

Рассказывают, что Лао-цзы шел через лес, который рубили. Сотня дровосеков рубила деревья. Но вот Лао-цзы увидел огромное дерево не срубленным. Оно было очень большим и прекрасным. Лао-цзы послал своих учеников узнать, почему дерево не рубят. «Оно бесполезно, – был ответ, – из него ничего нельзя сделать. Оно не годится даже для мебели».

И Лао-цзы сказал ученикам:

– Научитесь у этого дерева, станьте столь же бесполезными. Тогда никто вас не тронет. Это великое дерево. Взгляните, все эти деревья погибли, они были прямые и стройные. Должно быть, эти стройные деревья очень гордились собой и они кому-то понадобились. Станьте бесполезными, но поймите смысл этого: не становитесь товаром, не становитесь вещью, иначе вас будут продавать и покупать.

Умер один великий даос. Лао-цзы отправился оказать ему последнюю почесть. Но на похоронах собралось множество людей. Он удивился и повернул обратно.

Ученики, сопровождавшие его, спросили:

– В чем дело? Почему Вы решили вернуться, не оказав последней почести?

– Он не мог быть человеком Дао, – ответил Лао-цзы. – Столько людей плачут и рыдают. Видно, он стал для них чем-то незаменимым. Значит, от него им была какая-то польза. Вот почему я возвращаюсь. Он не следовал учению истинно.

Легкое есть верное

Лао-цзы учил: «Хочешь быть твердым – сохраняй твердость с помощью мягкости; хочешь быть сильным – береги силу с помощью слабости.

Кто собирает мягкое, станет твердым. Кто собирает слабое, станет сильным. Наблюдай за тем, что собирается, чтобы узнать, что пройдет: счастье или беда. Мягкое и слабое – спутники жизни. Твердое и сильное – спутники смерти».

Мудрый царь

Ян Чжу встретился с Лао-цзы и спросил:

– Можно ли сопоставить с мудрым царем человека сообразительного и решительного, проницательного и дальновидного, который без усталости изучает путь?

– При сопоставлении с мудрым, – ответил Лао-цзы, – такой человек выглядел бы как суетливый мелкий слуга, который трепещет в душе и напрасно утруждает тело. Ведь говорят: «красота тигра и барса – приманка для охотников»; «обезьяну держат на привязи за ее ловкость, а собаку – за умение загнать яка». Разве можно такого сопоставить с мудрым царем?

– Дозвольте спросить, как управлял мудрый царь? – задал вопрос Ян Чжу, изменившись в лице.

– Когда правил мудрый царь, успехи распространялись на всю Поднебесную, а не уподоблялись его личным; преобразования доходили до каждого, а народ не опирался на царя; никто не называл его имени, и каждый радовался по-своему. Сам же царь стоял в неизмеримом и странствовал в небытии.

Спесь

Ян Чжу на юге достиг местности Пэй, и когда Лао-цзы странствуя на запад, пришел в Цинь, встретил его на подступах – в Лян.

Посередине дороги Лао-цзы поднял взор к небу и вздохнул:

– Прежде думал, что тебя можно научить, ныне же вижу, что нельзя.

Ян Чжу промолчал. Когда же они вошли в харчевню, Ян Чжу подал Лао-цзы воду для умывания и полоскания рта, полотенце и гребень. Оставив туфли за дверями, подполз к нему на коленях и заговорил:

– Недавно учитель поднял взор к небу, вздохнул и сказал: «Прежде думал, что тебя можно научить, ныне же вижу, что нельзя», Мне, ученику, хотелось попросить объяснения, но не осмелился, ибо учитель сказал и продолжал путь без отдыха. Ныне же у учителя есть свободное время. Дозвольте мне задать вопрос: в чем моя вина?

– У тебя самодовольный взгляд, у тебя хвастливый взгляд. С кем сумеешь жить вместе? Ведь и «чистейшая белизна кажется запятнанной, совершенное достоинство кажется недостаточным», – ответил Лао-цзы.

– Почтительно слушаюсь! – сказал Ян Чжу со всем уважением, изменившись в лице.

Прежде Ян Чжу в харчевне приветствовали женщины, хозяин приносил ему циновку, хозяйка подавала полотенце и гребень, сидевшие уступали место на циновке, гревшиеся давали место у очага. Когда же он вернулся, постояльцы стали спорить с ним за место на циновке.

Милосердие и справедливость

Конфуции встретился с Лао-цзы и заговорил о милосердии и справедливости.

– Если, провеивая мякину, засоришь глаза, – сказал Лао-цзы, – то небо и земля, все четыре страны света поменяются местами. Если ищут комары и москиты, не заснешь всю ночь. Но нет смуты большей, чем печаль о милосердии и справедливости, она возмущает мое сердце. Если бы вы старались, чтобы Поднебесная не утратила своей простоты, вы бы двигались, подражая ветру, останавливались, возвращаясь к природным свойствам. К чему же столь рьяно, будто в поисках потерянного сына, бьете во все неподвижные и переносные барабаны? Ведь лебедь бел не оттого, что каждый день купается; а ворона черна не оттого, что каждый день чернится. Простота белого и черного не стоит того, чтобы о ней спорить; красота имени и славы не стоит того, чтобы ее увеличивать. Когда источник высыхает, рыбы, поддерживая одна другую, собираются на мели и стараются дать друг другу влагу дыханием, слюной. Но лучше им забыть друг о друге в просторах рек и озер.

Повидавшись с Лао-цзы, Конфуций вернулся домой и три дня молчал.

– С чем вы, учитель, вернулись от Лао-цзы? – спросили ученики.

– Ныне в нем я увидел Дракона, – ответил Конфуций. – Дракон свернулся в клубок, и образовалось тело, расправился, и образовался узор, взлетал на облаке, на эфире, кормился от сил жара и холода. Я разинул рот и не мог его закрыть. Как же мне подражать Лао-цзы!

– В таком случае, – спросил Цзыгун, – не обладает ли тот человек неподвижностью Покойника и внешностью Дракона, голосом грома и молчанием пучины, не действует ли подобно небу и земле? Не удостоюсь ли и я, Сы, его увидеть?

От имени Конфуция Цзыгун встретился с Лао-цзы.

Лао-цзы только что уселся на корточки в зале и слабым голосом промолвил:

– Годы мои уже на закате, и я ухожу. От чего вы хотите меня предостеречь?

– Почему только вы, Преждерожденный, считаете, что три царя и пять предков не были мудрыми? – спросил Цыгун. – Ведь они управляли Поднебесной по-разному, слава же им выпала одинаковая.

– Подойди, поближе, юноша, – сказал Лао-цзы. – Почему ты считаешь, что управляли по-разному?

– Высочайший передал власть Ограждающему, Ограждающий – Молодому Дракону, – сказал Цыгун. – Молодой Дракон применял силу физическую, а Испытующий – военную. Царь Прекрасный покорялся Бесчеловечному и не смел ему противиться. Царь Воинственный пошел против Бесчеловечного и не захотел ему покориться. Поэтому и говорю, что по-разному.

– Подойди поближе, юноша, – сказал Лао-цзы. – Я тебе поведаю, как управляли Поднебесной три владыки и пять предков. Желтый Предок, правя Поднебесной, привел сердца людей к единству. Когда родители умирали, дети их не оплакивали и народ их не порицал. При Высочайшем в сердцах людей Поднебесной появились родственные чувства. Если из-за смерти своих родителей люди придавали меньшее значение смерти чужих родителей, народ их не порицал. При Ограждающем в сердцах людей Поднебесной зародилось соперничество. Женщины рожали после десяти лун беременности, дети пяти лун от роду могли говорить, еще не научившись смеяться, начинали узнавать людей и тогда стали умирать малолетними. При Молодом Драконе сердца людей Поднебесной изменились, у людей появились страсти, а для применения оружия – обоснования; убийство разбойника не стали считать убийством. Разделили на роды людей и Поднебесную для каждого из них свою. Поэтому Поднебесную объял великий ужас. Поднялись конфуцианцы и моисты. От них пошли правила отношений между людьми, а ныне еще и отношений с женами. О чем еще говорить! Я поведаю тебе, как три владыки и пять предков наводили порядок в Поднебесной. Называется – навели порядок, а худшего беспорядка еще не бывало. Своими знаниями трое владык наверху нарушили свет солнца и луны, внизу – расстроили сущность гор и рек, в середине – уменьшили блага четырех времен года. Их знания более ядовиты, чем хвост скорпиона, чем зверь сяньгуй. Разве не должны они стыдиться? Ведь не сумев обрести покой в собственной природе, они сами еще считали себя мудрецами. Они – бесстыжие!

Цыгун в замешательстве и смущении остался стоять на месте.

Справедливость

Конфуций отправился на запад, чтобы спрятать книги в чжоуском хранилище, а Цзы-лу ему сказал:

– Я слышал, что среди летописцев в Чжоу был Лао-цзы, но он отказался от должности и вернулся к себе домой. Не отправиться ли к нему за помощью, если вы, учитель, хотите спрятать книги?

– Прекрасно, – сказал Конфуций и отправился к Лао-цзы, но тот отказался помочь, и Конфуций стал его убеждать, излагая все двенадцать основ.

– Слишком пространно, – прервал его Лао-цзы, – хочу услышать самое важное.

– Самое важное – это милосердие и справедливость, – ответил Конфуций

– Разрешите узнать, каков характер милосердного и справедливого? – спросил Лао-цзы.

– Хорошо, – ответил Конфуций. – Без милосердия нельзя стать благородным мужем, без справедливости нельзя даже родиться благородным мужем. Милосердие и справедливость – таков характер истинного человека. Как же может быть иначе?

– Разрешите спросить, – сказал Лао-цзы, – что вы называете милосердием и справедливостью?

– От души радоваться вместе со всеми вещами, любить всех без пристрастия. Таковы чувства милосердия и справедливости, – ответил Конфуций.

– О! Почти как в речах последышей. Любовь ко всем разве не нелепость? Беспристрастие – разве это не пристрастие? – сказал Лао-цзы. – Если вы, учитель, не хотите, чтобы Поднебесная лишилась своих пастырей, вы должны желать ей постоянства такого же, как у неба и земли. Ведь, конечно, будут светить солнце и луна, будет свой порядок у звезд и планет, будут стаи птиц и стада зверей, и деревья будут расти вверх. Если бы вы, учитель, действовали, подражая их свойствам, следовали их путем, то уже достигли бы истинного. К чему же столь рьяно вещать о милосердии и справедливости, точно с барабанным боем отыскивать потерянного сына? Вы, учитель, вносите смуту в характер человека!

Конфуций спросил Лао-цзы:

– Можно ли назвать мудрым человека, который овладевает путем, будто подражая сильному, делая невозможное возможным, неистинное истинным, или софиста, который говорит, что отделить твердое и белое ему так же легко, как различить светила на небе?

– Это суетливый мелкий слуга, который трепещет в душе и напрасно утруждает тело. Ведь умение собаки загнать яка, ловкость обезьяны исходят из гор и лесов, – ответил Лао-цзы.

– Я скажу тебе, Цю, о том, чего нельзя услышать, о чем нельзя рассказать. У многих есть голова и ноги, но нет ни сердца, ни слуха, но нет таких, кто, имея тело, существовал бы вместе с неимеющим ни тела, ни формы. Причины движения и покоя, смерти и рождения, уничтожения и появления не в самих людях, но некоторые из причин управляются людьми. Того же, кто забывает обо всех вещах, забывает о природе, уподоблю забывшему самого себя. Только забывшего о самом себе и назову слившимся с природой.

Ничтожный для природы

Учитель с Тутового Двора, Мэн Цзыфань и Цзы Циньчжан подружились. Они сказали друг другу:

– Кто способен дружить без мысли о дружбе? Кто способен действовать совместно, без мысли действовать совместно? Кто способен подняться на небо, странствовать среди туманов, кружиться в беспредельном, забыв обо всем живом, как бы не имея конца?

Тут все трое посмотрели друг на друга и рассмеялись. Ни у кого из них в сердце не возникло возражений, и они стали друзьями.

Но вот Учитель с Тутового Двора умер. Еще до погребения Конфуций услышал об этом и послал Цзыгуна им помочь. Цзыгун услышал, как кто-то складывал песню, кто-то подыгрывал на цине, и вместе запели:

Ах! Придешь ли, Учитель с Тутового Двора? Ах! Придешь ли, учитель? Ты уже вернулся к своему истинному, А мы все еще люди!

Поспешно войдя, Цзыгун сказал:

– Дозвольте спросить, по обряду ли вы так поете над усопшим?

– Что может такой понимать в обряде? – заметили оба, переглянувшись и усмехнулись.

Цзыгун вернулся, доложил Конфуцию и спросил:

– Что там за люди? Приготовлений к похоронам не совершали, отчужденные от формы, они пели над усопшим и не изменились в лице. Я даже не знаю, как их назвать! Что там за люди?

– Они странствуют за пределами человеческого, – ответил Конфуций, – а я, Цю, странствую в человеческом. Бесконечному и конечному друг с другом не сблизиться, и я, Цю, поступил неразумно, послав с тобой свое соболезнование. К тому же они обращаются с тем, что творит вещи, как с себе подобным, и странствуют в едином эфире неба и земли. Для них жизнь – какой-то придаток, зоб; смерть – прорвавшийся чирей,

освобождение от нароста. Разве такие люди могут понять, что такое смерть и что такое жизнь, что сначала, а что в конце? Они допускают, что тело состоит из различных вещей. Забывая о собственных глазах и ушах, о печени и желчи, они твердят все снова и снова о конце и начале, не зная границ. Они бессознательно блуждают за пределами пыли и праха, странствуют в беспредельном, в области недеяния. Разве станут они себя затруднять исполнением людских обрядов? Представать перед толпой зрителей, говорить для ушей толпы слушателей?

– Почему же тогда вы, учитель, следуете обрядам? – спросил Цзыгун.

– На мне, Цю, кара Небес! И все же я разделяю ее с тобою, – ответил Конфуций.

– Осмелюсь ли спросить про их учение?

– Рыба создана для воды, а человек – для пути, – ответил Конфуций. – Тот, кто создан для воды, кормится, плавая в пруду. Тот, кто создан для пути, утверждает свою жизнь в недеянии. Поэтому и говорят: «Рыбы забывают друг о друге в просторах рек и озер, люди забывают друг о друге в учении о пути».

– Осмелюсь ли узнать, что за человек тот, кто чуждается людей? – спросил Цзыгун.

– Тот, кто чуждается людей, равен природе, – ответил Конфуций. – Поэтому и говорится: «Человек, ничтожный для природы, – благородный муж, царь для людей; благородный муж для людей – человек, ничтожный для природы».

Не будьте самодовольными

Проходя через провинцию Сун, Ян-цзы зашел на постоянный двор. У хозяина двора были две наложницы: красивая и безобразная. Хозяин ценил безобразную, а красивой пренебрегал.

На вопрос Ян-цзы, какая тому причина, он ответил:

– Красавица сама собой любит, а я не понимаю, в чем ее красота. Безобразная сама себя принижает, а я не понимаю, в чем ее уродство.

– Запомните это, ученики, – сказал Ян-цзы. – Действуйте достойно, но гоните от себя самодовольство и вас полюбят всюду, куда бы вы ни пришли.

Совершенство – это полнота свойств

Цзы Син-цзы тренировал бойцового петуха для чжоусского царя. Встретив его, царь спросил:

– Готов ли петух к бою?
– Еще нет. Пока самонадеян, попусту кичится.
Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос.
– Пока нет. Бросается на каждую тень, откликается на каждый звук.
Через 10 дней царь снова задал тот же вопрос.
– Пока нет. Взгляд еще полон ненависти, энергия бьет ключом, через край.
Прошло еще десять дней. Цзы Син-цзы сказал царю:
– Почти готов. Не тревожится, даже если услышит другого петуха. Взгляни на него! Он будто вырезан из дерева. Полнота его свойств совершенна! На его вызов не посмеет откликнуться ни один петух, повернется и сбежит.

Милосердие

Дан, главный жрец, ведающий закланием жертвенного скота в Шан, спросил Чжуан-цзы, что такое милосердие.

– Милосердны тигры и волки, – ответил Чжуан-цзы.
– Что это значит?
– Как же не милосердны, если волчица и волчата любят друг друга? Разрешите спросить о настоящем милосердии!
Для настоящего милосердия не существует родственных чувств.
Я, Дан, слышал о том, что без родства нет и любви, без любви нет и сыновней почтительности. Ведь не может быть настоящего милосердия без почтительного отношения к родителям!

– Нет, это не так, – ответил Чжуан-цзы. – Настоящее милосердие высоко. О нем, конечно, не стоит и говорить, исходя из сыновней почтительности. В твоих же словах сыновняя почтительность не преувеличена, а преуменьшена. Ведь отчего, подходя к Ин с юга, не замечают на севере гору Миншань? Оттого, что она далека от Ин. Поэтому и говорится: уважать родителей легче, чем их любить; любить родителей легче, чем их забыть; забыть родителей легче, чем заставить родителей забыть о тебе, заставить родителей забыть о себе легче, чем самому забыть обо всем в Поднебесной; забыть обо всем в Поднебесной легче, чем заставить всех в Поднебесной о тебе забыть. Ведь обладающий свойствами забывает про Высочайшего и Ограждающего и предается недеянию. Блага его распространяются на тьму поколений, а Поднебесная о нем и не знает. Как можно только вздыхать да твердить о милосердии, о сыновней почтительности? Ведь всем этим – почтительностью к родителям и старшим братьям, милосердием и справедливостью, преданностью и доверием, целомудрием и честностью – люди заставляют

себя служить собственной добродетели, большего все это не стоит. Поэтому и говорится: «Настоящее благородство отвергает царские почести, настоящее богатство отвергает царскую сокровищницу, настоящие чаяния отвергают имя и славу». От всего этого путь не изменяется.

Полезное и бесполезное

Творящий Благо сказал Чжуан-цзы:

– Ты говоришь о бесполезном.

– С тем, кто познал бесполезное, можно говорить и о полезном, – ответил Чжуан-цзы. – Ведь земля и велика, и широка, а человек ею пользуется лишь в размере своей стопы. А полезна ли еще человеку земля, когда рядом с его стопою роют ему могилу вплоть до Желтых источников?

– Бесполезна, – ответил Творящий Благо.

– В таком случае, – сказал Чжуан-цзы, – становится ясной и польза бесполезного.

Предел

Перед тем как ослепнуть, глаза разглядывают даже кончик волоса.

Перед тем как оглохнуть, уши расслышат даже полет москита.

Перед тем как притупится ощущение вкуса, язык отличит воду из реки Цзы от воды из реки Минь. Перед тем как утратить обоняние, нос отличит запах обожженного дерева от запаха гниющего.

Перед тем как телу окостенеть, человек бежит быстро. Перед тем как утратить рассудок, сердце легко отличает правду от лжи.

Причина в том, что, не достигнув предела, вещи не переходят в свою противоположность.

Даосские притчи. Серия «Мудрость в притчах». Пенза, 2004. С. 14, 16-17, 28-36, 44-47, 72, 81-82, 144.

2.2. Проблема человека в античной философии

Представляется, что нет оснований говорить о единообразном подходе к проблеме человека в древнегреческой философии, прежде всего потому, что антропологическая тематика только начинает формироваться в это время. Известна ставшая классической идея Сократа о том, что мы не можем исследовать природу человека тем же путем, каким мы раскрываем природу физических явлений. Человека можно описать в терминах его сознания. Он постоянно ищет себя, испытывает, проверяет, меняет установки и жизненные ценности. Наличие души – важный признак человеческой натуры.

В древнегреческой культуре человека это микрокосм – малый космос, в котором отражается весь мир (большой космос), часть Вселенной. Человек понимался как единство души и тела. Душа есть «становящийся ум», а тело – источник страстей, корень всех зол.

Этика – наука о морали и нравственности, возникает как учение о благе, добродетелях, обязанностях. Аристотелевское определение человека как «политического животного» соответствует греческой традиции приоритета общества над индивидом. Высшее предназначение человека состоит в познании, цель его жизни – «высшее благо», счастье.

***Задание.** Проанализируйте тексты античных авторов, сравните их философские позиции.*

Определите, какие наиболее существенные черты понимания человека выделяют в своих работах древнегреческие философы. Каким предстает перед нами человек античного общества?

ГЕРАКЛИТ (544-483 до н.э.)

Секст adv. math. VII 132 (В 1). Хотя этот логос существует вечно, непонимающими бывают и прежде, чем услышат (о нем), и услышав впервые. Ибо, хотя все совершается согласно этому логосу, они выглядят несведущими, когда приступают к таким словам и делам, какие я излагаю, различая каждое по его природе и объясняя, в каком оно находится состоянии. От остальных же людей (исключая названных) скрыто то, что они делают бодрствуя, подобно тому, как они забывают и то, что делали во сне.

Секст *adv. math.* VII 133 (В 2). Хотя этот логос (для всех) общий, большинство людей живет так, как будто имеет свое собственное разумение.

Альберт Великий *deveget* VI (В 4). Если бы счастье заключалось в телесных удовольствиях, счастливыми назвали бы мы быков, когда они находят горох для еды.

Климент *Strom.* IV 16 (В 24). Павших в бою чтут боги и люди.

Климент *Strom.* V 60 (В 29). Лучшие люди одно предпочитают всему: вечную славу среди смертных (людей – тленным вещам); толпа же насыщается подобно скоту.

Климент *Strom.* V 105 (В 30). Этот космос (один и тот же для всего сущего) не создал никто из богов, никто ни из людей но всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерно воспламеняющимся и мерно угасающим.

Климент *Strom.* VI 16 (В 36). Душам смерть – воде рождение, воде же смерть – земле рождение; из земли же вода рождается, а из воды – душа.

Диоген IX 1 (В 40). Многознание уму не научает.

Диоген IX 7(В 45). По какой бы дороге ты ни пошел, пределов души не найдешь: столь глубок ее логос.

Диоген IX 7 (В 46). Самомнение – падучая болезнь.

Ипполит *reful.* IX 9 (В 50). Не мне, но логосу внимая, мудро согласиться, что все едино.

Ипполит *reful.* IX 9 (В 53). Война – отец всего, царь всего; одних она выявила богами, других – людьми, одних она сделала рабами, других – свободными.

Оригенс *Cels.* VI 42 (В 80). Следует знать, что война всеобща и что правда – борьба и что все происходит через борьбу и по необходимости.

Плутарх *Coriol.* 22 (В 85). Трудно бороться со страстью: ведь всякое желание сердца исполняется ценою души.

Плутарх *de E* 8 (В 90). Все обменивается на огонь, и огонь – на все, подобно тому как золото – на товары и товары – на золото.

Полибий *adv. Colot* 20 (В 101). Я вопрошал самого себя.

Полибий XII 27 (В 101 а). Глаза – более точные свидетели, чем уши.

Порфирий Д 4 (В 102). Для бога все прекрасно, хорошо и справедливо, а люди одно считают несправедливым, а другое – справедливым.

Секст *adv. math.* VII 126 (В 107). Глаза и уши – плохие свидетели для людей, имеющих варварские души.

Стобей *Flor.* I 176 (В 110). Людям не стало бы лучше, если бы исполнилось все, чего они желают.

Стобей Flor. I 178 (B 112). Разумение – величайшая добродетель, и мудрость состоит в том, чтобы говорить истину и поступать разумно, воспринимая вещи согласно их природе.

Стобей Flor. V 7 (B 117). Пьяный, ведомый ребенком, шатается и не замечает, куда идет, ибо влажна его душа.

Стобей Flor. V 8 (B 118). Сухая, сияющая огненная душа мудрейшая и наилучшая.

Стобей Flor. IV 40,23 (B 119). Нрав человека – его демон.

ПЛАТОН **(427-347 до н.э.)**

...В род богов не позволено перейти никому, кто не был философом и не очистился до конца, – никому, кто не стремился к познанию. Потому-то, милые мои Симмий и Кебет, истинные философы гонят от себя все желания тела, крепятся и ни за что им не уступают, не боясь разорения и бедности, в отличие от большинства, которое корыстолюбиво, и хотя они, в отличие от властолюбивых и честолюбивых, не страшатся бесчестия и бесславия, доставляемых дурною жизнью, они от желаний воздерживаются.

– Так ведь иное было бы и недостойно их, Сократ! – воскликнул Кебет.

– Да, недостойно, клянусь Зевсом. Кто заботится о своей душе, а не холит тело, тот расстается со всеми этими желаниями. Остальные идут, сами не зная куда, а они следуют своим путем: в уверенности, что нельзя перечить философии и противиться освобождению и очищению, которые она несет, они идут за ней, куда бы она не повела.

– Как это, Сократ?

– Сейчас объясню. Тем, кто стремится к познанию, хорошо известно вот что: когда философия принимает под опеку их душу, душа туго-натянутого связана в теле и прилеплена к нему, она вынуждена рассматривать и постигать сущее не сама по себе, но через тело, словно бы через решетки тюрьмы, и погрязает в глубочайшем невежестве. Видит философия и всю грозную силу этой тюрьмы: подчиняясь страстям, узник сам крепче любого блюстителя караулит собственную темницу. Да, стремящимся к познанию известно, в каком положении бывает их душа, когда философия берет ее под свое покровительство и с тихими увещаниями принимается освобождать, выявляя, до какой степени обманчиво зрение, обманчив слух и остальные чувства, убеждая отдаляться от

них, не пользоваться их службою, насколько лишь это возможно, и советуя душе сосредоточиваться и собираться в себе самой, верить только себе, когда, сама в себе, она мыслит о том, что существует само по себе, и не считать истинным ничего из того, что она с помощью другого исследует из других вещей, иначе говоря, из осязаемых и видимых, ибо то, что видит душа, умопостигаемо и безвидно. Вот то освобождение, которому не считает нужным противиться душа истинного философа, и потому она бежит от радостей, желаний, печалей и страхов, насколько это в ее силах, понимая, что, если кто сильно обрадован, или опечален, или испуган, или охвачен сильным желанием, он терпит только обычное зло, какого и мог бы ожидать, – например, заболевает или проматывается, потакая своим страстям, – но и самое великое, самое крайнее из всех зол и даже не отдает себе в этом отчета.

– Какое же это зло, Сократ? – спросил Кебет.

– А вот какое: нет человека, чья душа, испытывая сильную радость или сильную печаль, не считала бы то, чем вызвано такое ее состояние, предельно ясным и предельно подлинным, хотя это и не так. Ты, я думаю, со мной согласишься, что, в первую очередь, это относится к вещам видимым.

– Охотно соглашусь.

– А согласишься ли ты, что именно в таком состоянии тело сковывает душу особенно крепко?

– То есть как?

– А вот как: у любой радости или печали есть как бы гвоздь, которым она пригвозждает душу к тому, пронзает ее и делает как бы телесною, заставляя принимать за истину все, что скажет тело. А разделяя представления и вкусы тела, душа, мне кажется, неизбежно перенимает его правила и привычки, и уже никогда не прийти ей в Аид чистою – она всегда отходит, обремененная телом, и потому вскоре вновь попадает в иное тело и, точно посеянное зерно, пускает ростки. Так она лишается своей доли в общении с божественным, чистым и единообразным.

– Верно, Сократ, совершенно верно, – сказал Кебет.

– По этой как раз причине, Кебет, воздержаны и мужественны те, кто достойным образом стремится к познанию, а вовсе не те, о которых любит говорить большинство. Или, может, ты иного мнения?

– Нет, что ты!

– Да, душа философа рассуждает примерно так, как мы говорили, и не думает, будто дело философии – освободить ее, а она, когда это дело сделано, может снова предаться радостям и печалям и надеть прежние

оковы, наподобие Пенелопы, без конца распускающей свою ткань. Внося во все успокоение, следуя разуму и постоянно в нем пребывая, созерцая истинное, божественное и непреложное и в нем обретая для себя пищу, душа полагает, что так именно должно жить, пока она жива, а после смерти отойти к тому, что ей сродни, и навсегда избавиться от человеческих бедствий. В завершении такой жизни, Симмий и Кебет, ей незачем бояться ничего дурного, незачем тревожиться, как бы при расставании с телом, она не распалась, не рассеялась по ветру, не умчалась неведомо куда, чтобы уже нигде больше и никак не существовать.

После этих слов Сократа наступило долгое молчание. Видно было, что и сам он размышляет над только что сказанным, и большинство из нас тоже. Потом Кебет и Симмий о чем-то коротко перемолвились друг с другом. Сократ приметил это и спросил:

– Что такое? Вы, верно, считаете, что сказанного недостаточно? Да, правда, остается еще немало сомнительных и слабых мест, если посмотреть все от начала до конца с нужным вниманием. Конечно, если у вас на уме что-нибудь другое, я молчу. Но если вы в затруднении из-за этого, не стесняйтесь, откройте свои соображения, если они кажутся вам более убедительными, наконец, примите в свой разговор и меня, если находите, что с моей помощью дело пойдет лучше.

На это Симмий отозвался так:

– Я скажу тебе, Сократ, все как есть. Мы уже давно оба в смущении и всё только подталкиваем друг друга, чтобы тебя спросить, потому что очень хотим услышать, что ты ответишь, да боимся причинить тебе огорчение – как бы наши вопросы не были тебе в тягость из-за нынешней беседы.

Платон. Федон // Соч.: В 3 т. М., 1970. Т.2. С. 48-51.

...Человек должен постигать (ее) в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Поэтому по справедливости окрыляется только разум философа: у него всегда по мере его сил память обращена на то, чем божествен бог. Только человек, правильно пользующийся такими воспоминаниями, всегда посвящаемый в совершенные таинства, становится подлинно совершенным.

Платон. Федр // Соч.: В 3 т. М., 1970. Т.2. С. 185.

АРИСТОТЕЛЬ (384-322 до н.э.)

Что человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего: природа, согласно нашему утверждению, ничего не делает напрасно: между тем один только человек из всех живых существ одарен речью. Голос выражает печаль и радость, поэтому он свойственен и остальным живым существам (поскольку их природные свойства развиты до такой степени, чтобы ощущать радость и печаль и передавать эти ощущения друг другу). Но речь способна выражать и то, что полезно и что вредно, равно как и то, что справедливо и что несправедливо... Это свойство людей отличает их от остальных живых существ: только человек способен к восприятию таких понятий, как добро и зло, справедливость и несправедливость и т.п.

Аристотель. Политика // Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 379.

Одним счастьем кажется добродетель, другим – рассудительность, третьим – известная мудрость, а иным – все это (вместе) или что-нибудь одно в соединении с удовольствием или не без участия удовольствия; есть (наконец) и такие, что включают (в понятие счастья) и внешнее благосостояние (*euteria*). Одни из этих воззрений широко распространены, и идут из древности, другие же разделяются немногими, однако знаменитыми людьми. Разумно, конечно, полагать, что ни в том, ни в другом случае не заблуждаются всецело, а напротив, хотя бы в каком-то одном отношении или даже в основном бывают правы.

Наше определение... согласно с (мнением) тех, кто определяет счастье как добродетель или как какую-то определенную добродетель, потому что добродетели как раз присуща деятельность сообразно добродетели. И может быть немаловажно следующее различие: понимать ли под высшим благом обладание добродетелью или применение ее, склад души (*hexis*) или деятельность. Ибо может быть так, что имеющий склад (души) не исполняет никакого благого дела – скажем, когда человек спит или как-то иначе бездействует, – а при деятельности это невозможно, ибо она с необходимостью предполагает действие, причем успешное. Подобно тому, как на олимпийских состязаниях венки получают не самые красивые и сильные, а те, кто участвует в состязании (ибо победители бывают из их числа), так в жизни прекрасного и благого достигают те, кто совершает правильные поступки. И даже сама по себе жизнь доставляет им удовольствие. Удовольствие ведь испытыва-

ют в душе, а между тем каждому то в удовольствие, любителем чего он называется. Скажем, любителю коней – конь, любителю зрелищ – зрелища, и точно так же правосудное – любящему правое, а любящему добродетель – вообще все, что сообразно добродетели. Поэтому у большинства удовольствия борются друг с другом, ведь это такие удовольствия, которые существуют не по природе. То же, что доставляет удовольствие любящим прекрасное (*philokalou*), доставляет удовольствие по природе, а таковы поступки, сообразные добродетели, следовательно, они доставляют удовольствие и подобным людям, и сами по себе. Жизнь этих людей, конечно, ничуть не нуждается в удовольствии, словно в каком-то приукрашивании, но содержит удовольствие в самой себе. К сказанному надо добавить: не является добродетельным тот, кто не радуется прекрасным поступкам, ибо и правосудным никто не назвал бы человека, который не радуется правому, а щедрым – того, кто не радуется щедрым поступкам, подобным образом – и в других случаях. А если так, то поступки, сообразные добродетели *kat* (*aretên*), будут доставлять удовольствие сами по себе. Более того, они в то же время добры (*agathai*) и прекрасны, причем и то и другое в высшей степени, если только правильно судит о них добропорядочный человек, а он судит так, как мы уже сказали. Счастье, таким образом, – это высшее и самое прекрасное (благо), доставляющее величайшее удовольствие, причем все это нераздельно, вопреки известной делосской надписи:

Право прекрасней всего, а здоровье – лучшая участь,
Что сердцу мило добыть – вот удовольствие нам.

Аристотель. Никомахова этика // Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 66-67.

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ (412-323 до н.э.)

Фрагменты Диатриб

1. Всякие несчастья, когда их ожидают, всегда кажутся страшнее, чем огорчения, испытываемые от их действительного прихода. Страх столь велик, что многие спешат навстречу тому, чего боятся. Так, застигнутые бурей, не дожидаются, пока корабль дойдет ко дну, а еще до этого кончают жизнь самоубийством. (Стобей. Антолог., VIII, 15)

2. Итак, справедливость дает душе несравненный покой. Жить, никого не боясь, никого не стыдясь, – это доставляет радость и делает жизнь полной. Тот, у кого справедливость в душе, не только многим приносит пользу, но больше всего самому себе, ибо не сделает даже попытки нанести себе хоть какое-нибудь оскорбление. Он не причинит себе ни горя, ни болезни, но считая природные органы чувств божественными, будет пользоваться ими разумно: ничего не делая сверх своих сил, оберегать их и благодаря этому получать удовольствия и пользу. Кто разумно станет обходиться сам с собой, тот будет черпать удовольствия и в слухе, и в зрении, и в пище, и в любви. А тому, кто неразумно пользуется собой, грозят опасности, связанные с вещами более значительными и крайне необходимыми. Разве ты не видел людей, у которых душа не знает покоя ни днем, ни ночью, из-за чего они, словно безумные, бросаются в море и реки? (Там же, IX, 49).

3. Люди, незнакомые со вкусом понтийского меда, стремятся его попробовать, но стоит им лишь взять немного на язык, как они тот час же выплевывают его, к своему огорчению найдя мед горьким и невкусным. Так некоторые из любопытства хотели поближе познакомиться с Диогеном, но, когда он начинал их обличать, они сразу же обращались в бегство. Они радовались, когда он бранил других, но сами боялись этого и убегались подальше. Когда Диоген по своему обыкновению шутил и высмеивал других, они забавлялись сверх всякой меры, но его свободную речь, полную серьезного смысла и угроз, не выносили (Там же, XIII, 18).

4. Сравнивая Антисфена с его речами, он иногда упрекал его самого за излишнюю мягкость и, бранясь, называл трубой, потому что она, хотя и очень громко играет, но себя не слышит. Антисфен же в свою защиту говорил, что похож не на трубу, а на осу, которая жужжит крыльшками негромко, зато жалит очень чувствительно. Его восхищала свобода речи Диогена (там же, 19; ср. выше: Антисфен, фргм. 80).

5. Счастливым людям кажется жизнь лучше и потому смерть – тягостней, а те, кто живет в беде, жизнь переносят тяжелее, зато смерть принимают легче. А для тиранов и смерть тяжелее, чем для остальных, потому что живут они гораздо хуже тех, кто страстно стремится умереть, а смерти боятся так, как те, кто живет самой приятной жизнью (Стобей. Антолог. XIX, 27).

Антология кинизма. Фрагменты соч. кинических философов. М., 1984. Кн. VI. С. 133-135.

3. ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ

3.1. Средневековая философия о человеке

Поскольку прошлое уже не существует, то описание философских идей средневековья – это всегда реконструкция.

Философия средних веков пыталась формулировать христианское видение мира и человека. По оценке Ф.Ч. Коплстона: «Вся она кажется сухой и академичной. Однако необходимо помнить, что в средние века люди искали ответа (по вопросам смысла жизни и человеческой судьбы) не в философии... Тщетно было бы ожидать, что христианские теологи – такие, как Аквинат, Скот, Оккам – обратятся к философии в поисках ответов на вопросы, на которые, как они были уверены, можно ответить только в сфере откровения и теологии». (См.: Ф.Ч. Коплстон. История средневековой философии. М., 1997. С. 418).

Вера и разум – две темы, на которых строится вся история средневековой мысли. Вера транснациональна, сверхразумна. Разуму просто не доступно то, на что способна вера.

Бог сотворил мир и человека «по образу и подобию Божию», наделил его особой миссией и ответственностью. Человек – центр тварного мира. Законы человеческих взаимоотношений имеют не природное, Божественное происхождение. В Священном Писании в десяти заповедях Нагорной проповеди содержатся основные требования нравственности, указания, советы, которым должен следовать смертный человек. Праведная жизнь доступна любому человеку, живущему по Божественным заветам. Опыт исповеди и покаяния, переданный Августином, Абельяром и другими, просветляет процесс преобразования – личного, волевого, целенаправленного ради смысла, проявляющегося в собственной душе

***Задание.** Проанализируйте тексты и определите, как проявляется идея теоцентризма в работах Августина и Ф. Аквинского.*

В чем отличие философской позиции Д. Бруно в понимании сущности человека?

На какие стороны человеческой жизнедеятельности обращают внимание средневековые мыслители? Каков идеал человека средневековья?

АВГУСТИН (354-430)

О свободном выборе

Глава 4.

10. Августин. Я считаю также очевидным, что это внутренне чувство воспринимает не только то, что оно получает от пяти телесных чувств, но также и то, что они воспринимаются им. Ведь животное движется, или устремляясь к чему-либо, или избегая чего-либо, не иначе как ощущая, что оно ощущает, не ради познания, ведь это присуще разуму, но только ради движения, которое оно отнюдь не воспринимает посредством какого-нибудь из пяти чувств. То, что еще непонятно, прояснится, если ты обратишь внимание на то, что, например, есть в каком-либо одном чувстве, положим в зрении. Ведь в самом деле, открыть глаза и двигаться, глядя, к тому, что оно стремится увидеть, животное никоим образом не смогло бы, если бы не ощущало, что оно не видит этого, так как глаза закрыты или не туда устремлены. Если же животное ощущает себя невидящим, в то время как оно не видит, то необходимо, чтобы оно также ощущало себя видящим; ведь поскольку по тому же побуждению, благодаря которому оно, не видя, движет глазами, оно, видя, не движет ими, оно показывает, что ощущает и то и другое. Но воспринимает ли и саму себя та жизнь, которая воспринимает, что сама она ощущает телесное? Это не совсем ясно: разве только каждый, спросив себя самого, обнаруживает, что всякое живое существо избегает смерти, а коль скоро та противоположна жизни, необходимо, чтобы жизнь, которая избегает своей противоположности, также воспринимала саму себя. Если это не прояснилось до сих пор, то пусть оно будет опущено, дабы мы стремились к тому, чего желаем, только на основании твердых и очевидных доказательств. Ибо очевидным является то, что телесное воспринимается телесным чувством, а это чувство не может быть воспринято тем же самым чувством; чувством же внутренним воспринимаются и телесные вещи – через посредство телесного чувства, и само телесное чувство; а разумом познается и все упомянутое, и он сам, и им же удерживается знание: разве тебе так не кажется?

Эннодий. Безусловно, кажется.

Августин. Хорошо, теперь ответь, откуда возникает вопрос, стремясь прийти к разрешению которого, мы уже давно следуем этим путем?

Глава 5.

11. Эннодий. Насколько я помню, из тех трех вопросов, которые мы немногим ранее поставили ради следования порядку этого рассуждения, теперь мы заняты первым, то есть: каким образом может сделаться очевидным, что Бог есть, хотя в это следует верить упорнейше и непреклонно.

Августин. Ты хорошо помнишь это, но я хочу также, чтобы ты хорошенько вспомнил и то, что, когда я допытывался у тебя, знаешь ли ты, что ты есть, для нас стало очевидным, что ты знаешь не только это, но также две другие вещи.

Эннодий. Я помню это.

Августин. Итак, посмотри сейчас, к какой из этих трех вещей по твоему разумению, относится все то, что доступно телесному чувству; то есть к какому роду вещей, как тебе кажется, следует отнести все, что доступно нашему чувству или посредством глаз, или посредством какого угодно иного телесного органа: к тому ли, что только есть, или к тому, что также живет, или к тому, что также и понимает?

Эннодий. К тому, что только есть.

Августин. Как так? К какому роду из трех этих, по твоему мнению, относится само чувство?

Эннодий. К тому, что живет.

Августин. А как ты думаешь, что из этих двух лучше, само чувство или то, что чувству доступно?

Эннодий. Чувство, понимается.

Августин. Почему?

Эннодий. Ибо то, что также и живет, лучше, чем то, что только есть.

12. Августин. Почему же? Неужели то внутреннее чувство, которое, как мы ранее отыскиали, стоит ниже разума и к тому же является у нас общим с животными, ты усомнишься предпочесть тому чувству, посредством которого мы соприкасаемся с телами и которое, как ты уже сказал, следует предпочесть самому телу?

Эннодий. никоим образом не усомнился бы.

Августин. Почему же ты не усомнишься в этом, я хочу от тебя услышать. Ведь ты не сможешь сказать, что это внутреннее чувство следует отнести к тому из тех трех, что также понимает, а до сих пор относил его к тому, что и есть, и живет, хотя лишено разума: ибо это чувство присуще и животным, у которых нет разума. Если это так, я спрашиваю, почему ты предпочитаешь внутреннее чувство тому чувству, посредством которого ощущается телесное, коль скоро и то и дру-

гое относится к тому, что живет? То же чувство, которое воспринимает тела, ты предпочел бы телам потому, что они относятся к тому, что только есть, а оно относится к тому, что также и живет: а коль скоро в этом же роде находится и названное внутреннее чувство почему, скажи мне, ты считаешь его лучшим? Ведь если ты скажешь: потому что оно само ощущает, я не поверю, что ты нашел правило, которое мы могли бы принять, а именно, что все ощущающее лучше, чем то, что оно ощущает, дабы мы в силу этого, пожалуй, не были бы принуждены также сказать, что все разумеющее лучше, чем то, что оно разумеет. Но ведь это ложно, ибо человек мыслит о мудрости и не является лучшим, чем сама эта мудрость. Поэтому посмотри, по какой причине тебе кажется, что внутреннее чувство следует предпочесть тому чувству, посредством которого мы воспринимаем тела?

Эннодий. Потому что, как я знаю, первое является неким управителем и судьей последнего. Ибо если последнее в чем-то не исполняет свои обязанности, то первое настоятельно требует как бы причитающегося ему от слуги, о чем шла речь немногим ранее. Ведь чувство зрения не видит, видит ли оно или не видит, и так как оно не видит этого, то не может судить о том, чего ему не хватает или чего у него в достатке; а знает об этом то внутреннее чувство, которое побуждает душу животного и открыть закрытые глаза и восполнить то, нехватку чего оно ощущает. Напротив нет никакого сомнения, что тот, кто судит, является лучшим по сравнению с тем, о чем оно судит.

Августин. Итак, ты считаешь, что и это телесное чувство некоторым образом судит о телах? Ведь к нему относятся удовольствие и боль, поскольку тело воздействует на него либо нежно, либо резко. Действительно, подобно тому как это внутреннее чувство судит о том, чего хватает или недостает чувству зрения, так само чувство зрения судит о том, чего хватает или недостает цветам. Равным образом, подобно тому как это внутреннее чувство судит о нашем слухе, является ли он достаточно тонким или нет, так и сам слух судит о звуках, какой из них раздается нежно, а какой звучит резко. Нет необходимости перечислять прочие телесные чувства; ибо, как я полагаю, ты уже понял, что я хотел сказать, а именно: что это внутреннее чувство судит о телесных чувствах, коль скоро оно и оценивает безукоризненность их, и настоятельно требует от них причитающегося ему, точно так же и сами телесные чувства судят о телах, приемля нежное прикосновение их и не приемля противоположного.

Эннодий. Действительно, я вижу и согласен, что это в высшей степени истинно.

Глава 6.

13. Августин. А теперь подумай, судит ли разум и об этом внутреннем чувстве. Ибо я сейчас не спрашиваю, сомневаешься ли ты, что он лучше, чем оно, так как я не сомневаюсь в том, что ты так полагаешь: впрочем, я отнюдь не считаю, что нужно еще исследовать, судит ли разум об этом чувстве. Ведь относительно того, что ниже разума, то есть относительно тел, телесных чувств и внутреннего чувства, что же, как не сам разум указывает, каким образом одно лучше другого и насколько сам он их превосходит? Конечно, он никоим образом не смог бы сделать это, если бы сам не судил о них.

Эннодий. Очевидно.

Августин. Следовательно, коль скоро ту природу, которая только есть, а не живет и не понимает, каковым является безжизненное тело, превосходит та природа, которая не только есть, но также и живет, хотя и не понимает, такая как душа животных: и, в свою очередь, эту природу превосходит та, которая одновременно и есть, и живет, и понимает, каковым в человеке является мыслящий ум, — полагаешь ли ты, что в нас, то есть в тех, чья природа такова, что мы суть люди, может быть найдено что-нибудь лучшее, нежели то, что из этих трех мы поставили на третьем месте? В самом деле, очевидно, что мы имеем и тело, и некую жизнь, благодаря которой тело одушевляется и растет — эти два начала мы признаем также у животных; и мы имеем нечто третье — как бы главу нашей души или ее око, или что-нибудь такое, если только можно сказать нечто более подобающее о разуме и разумении, которыми не наделена природа животных. Поэтому, прошу тебя, посмотри, сможешь ли ты найти в природе человека что-либо более возвышенное, нежели разум.

Эннодий. Я не вижу совершенно ничего лучшего.

Августин. Что, если бы мы смогли найти нечто такое, относительно чего ты бы не сомневался, что оно не только есть, но и превосходит наш разум? Неужели бы ты не решился все, являющееся таковым, назвать Богом?

Эннодий. Если бы я смог найти нечто лучшее, нежели то, что в моей природе является наилучшим, то я не сказал бы тотчас же, что это и есть Бог. Ибо мне угодно называть Богом не то, по сравнению с чем мой разум есть нечто низшее, а то, выше чего ничего нет.

Августин. Именно так, ибо сам он предписал твоему разуму, чтобы тот думал о нем так благочестиво и истинно. Но я тебя спрашиваю, если ты не найдешь ничего иного, что было бы выше нашего разума, кроме чего-то вечного и неизменного, неужели ты не решишься назвать это

Богом? Ведь ты знаешь, что и тела изменчивы, и сама жизнь, которая одушевляет тела, очевидно, не лишена изменчивости ввиду ее различных состояний, да и сам разум, поскольку он то пытается достичь истинного, то не пытается, и иногда достигает, а иногда – нет, показывает, что он, конечно же, является изменчивым. Если, не используя никакого телесного органа, ни осязания, ни вкуса, ни обоняния, ни ушей, ни глаз, ни какого-либо чувства, низшего по отношению к разуму, но только через себя самого разум познает нечто вечное и неизменное, то пусть он признает одновременно и то, что сам он ниже этого, и то, что именно это и есть его БОГ.

Эннодий. Я, конечно же, признаю Богом то, относительно чего будет установлено, что выше его ничего нет.

Августин. Прекрасно. Ведь мне достаточно будет показать, что есть нечто в этом роде, и ты или признаешь, что это и есть Бог, или, если есть нечто высшее, согласишься, что оно-то и является Богом. Поэтому, есть ли нечто высшее или нет, все равно будет очевидно, что Бог есть, коль скоро я, как и обещал, показал с его же помощью, что он выше разума.

PL, 32, 1246-1249 = Petrologiae cursus completus. Serles Latina. T. 32. Col. 1246-1249.

Фома АКВИНСКИЙ (1225-1274)

Сумма теологии

Часть I. Вопрос 76. Статья 4: Есть ли в человеке другая форма помимо мыслительной души?

Таким образом, мы переходим к четвертой статье.

Кажется, что в человеке есть другая форма помимо мыслительной души.

1. Ибо Философ говорит во II кн. «О душе»: что душа есть «акт естественного тела, обладающего в потенции жизнью». Стало быть, душа относится к телу, как форма к материи. Но тело обладает какой-то субстанциальной формой, благодаря которой оно есть тело. Следовательно, душе предшествует в теле какая-то субстанциальная форма, благодаря которой оно есть тело. Следовательно, душе предшествует в теле какая-то субстанциальная форма.

2. Кроме того, человек и любое животное есть нечто движущее само себя. «А. все движущее само себя делится на две части, из которых одна является движущей, а другая – движимой», как доказывается в VIII кн. «Физики». Движущая же часть есть душа. Следовательно, нужно, чтобы другая часть была таковой, что могла бы быть движима. Но первая материя не может двигаться, как говорится в V кн. «Физики», коль скоро она есть сущее только в потенции; тогда как все, что движется, есть тело. Следовательно, нужно, чтобы в человеке и в любом животном была другая субстанциальная форма, благодаря которой было бы устроено тело.

3. Кроме того, порядок в формах устанавливается сообразно отношению к первой материи, ибо о «прежде» и «после» говорится по сравнению с каким-либо началом. Следовательно, если бы в человеке не было какой-то субстанциальной формы помимо разумной души, а последняя была непосредственно присуща первой материи, то из этого следовало бы, что она находится в ряду несовершеннейших форм, которые непосредственно присущи материи.

4. Кроме того, человеческое тело есть смешанное тело. Смешение же не происходит только соответственно материи, ибо тогда оно было бы лишь уничтожением. Следовательно, нужно, чтобы в смешанном теле оставались формы элементов, которые суть субстанциальные формы. Следовательно, в человеческом теле есть другие субстанциальные формы помимо мыслительной души.

Однако, напротив, у одной вещи есть одно субстанциальное бытие. А субстанциальная форма наделяет субстанциальным бытием. Следовательно, у одной вещи есть только одна субстанциальная форма. Душа же есть субстанциальная форма человека. Следовательно, невозможно, чтобы в человеке была какая-то другая субстанциальная форма, нежели мыслительная душа.

Отвечаю. Следует сказать, что если бы предполагалось, что мыслительная душа соединяется с телом не как форма, а только как двигатель (а так полагали платоники), то было бы необходимо признать, что в человеке есть другая субстанциальная форма, благодаря которой движимое душой тело определяется в своем бытии. Однако, если мыслительная душа соединяется с телом, как субстанциальная форма (о чем мы уже говорили), невозможно, чтобы в человеке обнаруживалась какая-то другая субстанциальная форма помимо нее.

Для выяснения этого следует учитывать, что субстанциальная форма отличается от формы акцидентальной тем, что акцидентальная форма дает не просто бытие, а бытие таковым, подобно тому как теп-

лота позволяет своему субъекту не просто быть, а быть теплым. И когда привходит акцидентальная форма, говорится, что нечто не просто становится либо возникает, а становится таковым или находящимся в каком-то состоянии; и, сходным образом, когда отделяется акцидентальная форма, говорится, что нечто не просто уничтожается, а лишь относительно чего-то. Субстанциальная же форма дает просто бытие, и потому при ее привхождении говорится, что нечто просто возникает, а при ее отделении – яростно уничтожается. И вследствие этого древние физики, которые полагали, что первая материя есть нечто актуально сущее, например, огонь или воздух, или что-то в том же роде, утверждали, что ничто не возникает, ни уничтожается просто, и «считали всякое становление изменением», как говорится в I кн. «Физики». Потому если бы было так, что помимо мыслительной души в материй предсуществовала бы какая-нибудь другая субстанциальная форма, благодаря которой субъект души был бы актуально сущим, то из этого вытекало бы, что душа не дает просто бытие, и, следовательно, не есть субстанциальная форма, и что при привхождении души имеет место не просто возникновение, а при ее отделении – не просто уничтожение, но лишь относительно чего-то. А это очевидным образом ложно. Поэтому следует сказать, что в человеке нет никакой другой субстанциальной формы, кроме одной лишь мыслительной души, и что она как виртуально содержит в себе чувствующую и питательную души, так виртуально содержит в себе все низшие формы, и одна производит все, что производят в других вещах более несовершенные формы. И подобным образом следует сказать о чувствующей душе в животных и о питательной – в растениях, и вообще о всех более совершенных формах в отношении к несовершенным.

Итак, на первый довод следует сказать, что Аристотель утверждает, что душа есть не только акт тела, но «акт тела естественного, имеющего органы, обладающие в потенции жизнью» и что такая потенция «не лишена души». Отсюда становится очевидным, что в то, актом чего называется душа, включается и душа, таким же образом, как говорится, что теплота есть акт теплого и свет есть акт светлого: и не так, что светлое есть светлое отдельно от света, а так, что оно есть светлое благодаря свету. И, сходным образом, говорится, что душа есть акт тела и т.д., ибо благодаря душе оно и есть тело, и является имеющим органы и обладающим в потенции жизнью. Но первый акт называется находящимся в потенции по отношению ко второму акту, который есть действие. Ибо такая потенция является не лишенной, т.е. не исключающей, души.

На второй довод следует сказать, что душа движет телом не благодаря своему бытию, сообразно коему она соединяется с телом как форма, а благодаря двигательной потенции, акт которой предполагает, что тело уже актуально осуществлено благодаря душе; так что душа сообразно двигательной силе есть движущая часть, а одушевленное тело есть движимая часть.

На третий довод следует сказать, что в материи рассматриваются разные степени совершенства, как-то: бытие, жизнь, чувство и разумение. А присоединяющееся следующим всегда совершеннее предыдущего. Следовательно, форма, которая: наделяет материю только первой, второй, третьей и т.д. степенями, является совершеннейшей, и тем не менее она присуща материи непосредственно.

На четвертый довод следует сказать, что Авиценна полагал, что субстанциальные формы элементов в смешанном теле остаются незатронутыми, смешение же происходит благодаря тому, что противоположные качества элементов сводятся к чему-то среднему. Но это невозможно. Ибо разные формы элементов могут быть только в разных частях материи, и для их различения следует помыслить измерения, без которых материя не может быть делимой. Материя же, подлежащая измерению, обнаруживается только в теле. А разные тела не могут быть в одном и том же месте. Отсюда следует, что в смешанном теле элементы будут различными по положению. И тогда будет не истинное смешение, которое откосится к целому, а смешение лишь для восприятия, относящееся к находящимся рядом мельчайшим частицам. Аверроэс же утверждал в III кн. «О небе», что формы элементов вследствие своего несовершенства являются средними между акцидентальными и субстанциальными формами и потому допускают большую или меньшую степени, и потому ослабляются в смешении и сводятся к чему-то среднему, и из них составляется одна форма. Но это невозможно в еще большей степени. Ведь субстанциальное бытие любой вещи заключено в неделимом, и всякие прибавления и убавление изменяют вид, как например, в числах, о чем говорится в VIII кн. «Метафизики». Поэтому невозможно, чтобы какая бы то ни было субстанциальная форма допускала большую или меньшую степени. Не менее невозможно, чтобы почти нечто было средним между субстанцией и акциденцией.

И потому следует сказать, что, согласно Философу в I кн. «О возникновении и уничтожении», формы элементов остаются в смешанном теле не актуально, а виртуально. Ибо остаются пусть и ослабленные собственные качества элементов, в которых заключена возмож-

ность элементарных форм. И такое качество смешения есть собственная предрасположенность к субстанциальной форме смешанного тела, например, к форме камня или какой бы то ни было души.

Thomas de Aquino. Summa theologiae // Cura et studio Institut Studiorum Medievalium Ottaviensis. T. 1. Ottawa, 1941. P. 445a-457a.

Джордано БРУНО (1548-1600)

Себасти. Так что вы определенно думаете, что душа человека по своей субстанций тождественна душе животных и отличается от нее лишь своей фигурацией?

Онорио. Душа, у человека в своем роде и в своем специфическом существе та же, что и у мухи, у морских устриц, у растений и любой одушевленной и имеющей душу вещи, так как нет тела, которое не имело бы в себе самом более или менее живой или совершенной связи с духом. Но этот дух роком или проведением, законом или фортуной соединяется либо с одним видом тела, либо с другим и, на основании разнообразия и сочетания органов тела, имеет различные степени совершенства ума и действий. Когда этот дух или душа, находится в науке, имеется определенная деятельность, определенные коготки и члены в таком-то числе, величине и форме; соединенная же с человеческим отпрыском, она приобретает другой ум, другие орудия, положения и действия. Допустим, если бы это было возможно (или если бы это фактически случилось), что у змеи голова превратилась бы в человеческую голову, откинулась назад и выросло бы туловище такой величины, каким оно могло стать за время жизни этого вида животных; допустим, что язык у нее удлинился, расширились плечи, ответвились руки и пальцы, а там, где кончается хвост, образовались ноги. В таком случае она понимала бы, проявляла бы себя, дышала бы, говорила, действовала и ходила бы не иначе, чем человек, потому что была бы не чем иным, как человеком.

Наоборот, и человек был бы не чем иным, как змеей, если бы втянул в себя, как внутрь ствола, руки и ноги, если бы все кости его ушли на образование позвоночника; так он превратился бы в змею, приняв все формы ее членов и свойства ее телосложения. Тогда высох бы его более или менее живой ум; вместо того чтобы говорить, он испускал бы шипенье; вместо того чтобы ходить, он ползал бы; вместо того чтобы строить дворцы, он рыл бы себе норы, и ему подходила бы не комната, а

яма; и как раньше он имел одни, теперь он имел бы другие члены, органы, способности и действия. Ведь у одного и того же мастера, по-иному снабженного разными видами материала и разными инструментами, по-разному обнаруживаются устремления ума и действия.

Затем легко допустить, что многие животные могут иметь больше способностей и много больше света ума, чем человек (не в шутку говорил Моисей о змее, называя ее мудрейшим из всех земных животных); однако по недостатку органов они ниже человека, тогда как последний по богатству и разнообразию органов много выше их. А чтобы убедиться в том, что это истица, рассмотрим повнимательнее и исследуем самих себя; что было бы, если бы человек имел ум, вдвое больше теперешнего, и деятельный ум блистай бы у него ярче, чем теперь, но при всем этом руки его преобразились бы в две ноги, а все прочее осталось бы таким, как и теперь? Скажи мне, разве в таком случае не претерпели бы изменения нынешние формы общения людей? Как могли бы образоваться и существовать семьи и общества у существ, которые в той же мере или даже больше, чем лошади, олени, свиньи, рискуют быть пожранными многочисленными видами зверей и которые стали бы подвергаться большей и более верной гибели? И, следовательно, как в таком случае были бы возможны открытия ученых, изобретения наук, собрания граждан, сооружения зданий и многие другие дела, которые свидетельствуют о величии и превосходстве человечества и делают человека поистине непобедимым триумфатором над другими видами животных? Все это, если взглянешь внимательно, зависит в принципе не столько от силы ума, сколько от руки, органа органов.

Себасто. А что ты скажешь об обезьянах и медведях, у которых, если не захочешь признать наличие рук, все же имеется орудие не хуже руки?

Онорио. У них не то телосложение, чтоб можно было иметь ум с такими способностями; потому что у многих других животных, вследствие грубости и низости физического сложения, всеобщий разум не может запечатлеть такую силу чувства в подобных душах. Поэтому сделанное мною сравнение должно было быть распространено на самые одаренные породы животных.

Себасто. А попугай разве не имеет органа, в высшей степени способного выражать какие угодно членораздельные слова? Почему же он тогда так тупо, с таким трудом и так мало может оказать, притом не понимая того, что говорит?

Онорио. Потому что он обладает не понятливостью и памятью, равноценной и сродной той, что имеется у людей, но лишь тем, что соответствует его природе; в силу этого он не нуждается, чтобы другие обучали его летать, отыскивать еду, отличать здоровую пищу от ядовитой, рождать, вить гнезда, менять жилище, чинить его для защиты от плохой погоды и заботиться о нуждах жизни не хуже, а частью и лучше и легче, чем человек.

Бруно Дж. Тайна Пегаса, с приложением Килленского осла // Диалоги. М., 1949. С. 490-492.

3.2. Проблема человека в философии Возрождения

Мыслители эпохи Ренессанса продолжили культурные традиции изучения проблем человека своих предшественников, акцентировав человеческую индивидуальность.

Личность становится отправной точкой и основой мировоззрения, проповедуется культ творческой индивидуальности. Светская жизнь (т.е. нецерковная) наполнена чувственными удовольствиями, стремлением к самореализации, глубочайшим почтением к искусствам. Интерес к обрядовой, культовой стороне религиозной жизни снижается, внимание человека сосредотачивается на внутренней духовной стороне. Человек эпохи Возрождения критикует власть авторитета, пытается освободиться от его влияния, веря с молодым энтузиазмом в невиданные перспективы развития человечества.

Задание. Сравните тексты философов и определите общую для них идею. Чем отличается позиция авторов от позиции философов Средневековья?

В чем сходство и различие понимания сущности человека древнегреческими философами и философами эпохи Возрождения?

Каким предстает перед нами человек эпохи Возрождения в работах философов этого времени?

Проследите, как исторически менялся идеал человека в работах философов. Какие черты, по вашему мнению, можно включить в разряд общечеловеческих ценностей? Что во взглядах этих философов близко современному человеку?

Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ (1466-1536)

...Человек – это некое странное животное, состоящее из двух или трех чрезвычайно разных частей: из души (anima) – как бы некоего божества (numen) и тела – вроде бессловесной скотины. В отношении тела мы настолько не превосходим животных другого рода, что по всем своим данным находимся гораздо ниже них. Что касается души, то мы настолько способны воспринять божественное, что сами могли бы пролететь мимо ангелов и соединиться с Богом. Если бы не было тебе дано тело, ты был бы божеством, если бы не был в тебя вложен ум (mens), ты был бы скотом. Эти две столь отличающиеся друг от друга природы высший творец объединил в столь счастливом согласии, а змей, враг мира, снова разделил несчастным разногласием, что они и разлученные не могут жить без величайшего мучения и быть вместе не могут без постоянной войны; ясно, что и то и другое, как говорится, держит волка за уши, к тому и к другому подходит милейший стишок:

Так не в силах я жить ни с тобой, ни в разлуке с тобой.

В этом неясном раздоре враждует друг с другом, будто разное, то, что едино. Ведь тело, так как оно видимо, наслаждается вещами видимыми; так как оно смертно, то идет во след преходящему, так как оно тяжелое – падает вниз. Напротив, душа (anima) памятуя об эфирном своем происхождении, из всех сил стремится вверх и борется с земным своим бременем, презирает то, что видимо, так как она знает, что это тленно; она ищет того, что истинно и вечно. Бессмертная, она любит бессмертное, небесная – небесное, подобное пленяется подобным, если только не утонет в грязи тела и не утратит своего врожденного благородства из-за соприкосновения и ним. И это разногласие посеял не мифический Прометей, подмешав к нашему духу (mens) также частичку, взятую от животного, его не было в первоначальном виде, однако грех исказил созданное хорошо, сделав его плохим, внеся в доброе согласие яд раздора. Ведь прежде и дух (mens) без труда повелевал телу, ... извратив порядок вещей, телесные страсти стремятся повелевать разумом (ratio); и он вынужден подчиняться решению тела.

Поэтому не глупо было бы сопоставить грудь человека с неким мятежным государством, которое, так как оно состоит из разного рода людей, по причине разногласия в их устремлениях должно раздираться из-за частых переворотов и восстаний, если полнота власти не находится у одного человека и он правит не иначе как на благо государства. Поэто-

му необходимо, чтобы больше силы было у того, кто больше понимает, а кто меньше понимает, тот пусть повинется. Ведь нет ничего неразумнее низкого простого люда; он обязан подчиняться должностным лицам, а сам не иметь никаких должностей. На советах следует слушать благородных или старших по возрасту, и так, чтобы решающим было суждение одного царя, которому иногда надо напоминать, принуждать же его и предписывать ему нельзя. С другой стороны, сам царь никому не подвластен, кроме закона; закон отвечает идее нравственности (*honestas*). Если же роли переменятся и непокорный народ, эти буйные отбросы общества, потребует повелевать старшими по возрасту или если первые люди в государстве станут пренебрегать властью царя, то в нашем обществе возникнет опаснейший бунт и без указаний Божьих все готово будет окончательно погибнуть.

В человеке обязанности царя осуществляет разум. Благородными можешь считать некоторые страсти, хотя и плотские, однако не слишком грубые; это врожденное почитание родителей, любовь к братьям, расположение к друзьям, милосердие к падшим, боязнь дурной славы, желание уважения и тому подобное. С другой стороны, последними отбросами простого люда считай те движения души, которые весьма сильно расходятся с установлениями разума и низводят до низости скотского состояния. Это – похоть, роскошь, зависть и: подобные им хвори души, которых, вроде грязных рабов и бесчестных колодников, надо всех принуждать к одному: чтобы, если могут, выполняли дело и урок, заданный господином, или, по крайней мере не причиняли явного вреда. Понимая все это божественным вдохновением, Платон в "Тимее" написал, что сыновья богов по своему подобию создали в людях род души: одну – божественную и бессмертную, другую – как бы смертную и подверженную разным страстям. Первая, из них – удовольствие (*voluptas*) – приманка зла (как он говорит), затем страдание (*dolor*), отпугивание и помеха для добра, потом болезнь и дерзость неразумных советчиков. К ним добавляет и. неумолимый гнев, а кроме того, лстивую надежду, которая бросается на все с безрассудной любовью. Приблизительно таковы слова Платона. Он, конечно, знал, что счастье жизни состоит в господстве над такого рода страстями. В том же сочинении он пишет, что те, которые одолели их, будут жить праведно, а неправедно те, которые были ими побеждены. И божественной душе, т.е. разуму (*ratio*), как царю, определил он место в голове, словно в крепости нашего государства; ясно, что это – самая верхняя часть тела, она ближе всего к небу, наименее грубая, потому, что состоит только из тонкой кости и не отягощена ни жилами, ни плотью, а

изнутри и снаружи очень хорошо укреплена чувствами, дабы из-за них – как вестников – не возник в государстве ни один бунт, о котором он сразу не узнал бы. И части смертной души – это значит страсти, которые для человека либо смертоносны, либо докучливы, – он от нее отделил. Ибо между затылком и диафрагмой он поместил часть души, имеющую отношение к отваге и гневу – страстям, конечно, мятежным, которые следует сдерживать, однако они не слишком грубы; поэтому он отделил их от высших и низших небольшим промежутком для того, чтобы из-за чрезмерно тесного соседства они не смущали досуг царя и, испорченные близостью с низкой чернью, не составили против него заговора. С другой стороны, силу вождения, которая устремляется к еде и питью, которая толкает нас к Венере, он отправил под предсердие, подальше от царских покоев – в печень и в кишечник, чтобы она обитала там в загоне, словно какое-нибудь дикое, неукротимое животное, потому что она обычно пробуждает особенно сильные волнения и весьма мало слушается приказов властителя. Самая низкая ее скотская и строптивая сторона или же тот участок тела, которого надлежит стыдиться, над которым она прежде всего одерживает верх, может быть предостережением того, что она при тщетных призывах царя с помощью непристойных порывов подготавливает мятеж. Нет сомнения в том, что ты видишь, как человек – сверху создание божественное – здесь полностью становится скотиной. И тот божественный советник, сидя в высокой крепости, помнит о своем происхождении и не думает ни о чем грязном, ни о чем низменном. У него скипетр из слоновой кости – знак того, что он управляет исключительно только справедливо; Гомер писал, что на этой вершине сидит орел, который взлетая к небу, орлиным взглядом взирает на то, что находится на земле. Увенчан он золотой короной, потому что в тайных книгах золото обыкновенно обозначает мудрость, а круг совершенен и ни от чего не зависим. Ведь это достоинства, присущие царям; во-первых, чтобы они были мудрыми и ни в чем не погрешали, затем чтобы они хотели лишь того, что справедливо, дабы они не сделали чего-нибудь плохого и по ошибке, вопреки решению духа (*animus*). Того, кто лишен одного из этих свойств, считай не царем, а разбойником.

Эразм Роттердамский. Оружие христианского воина // Философские произведения. М., 1987. С. 111-114.

Никколо МАКИАВЕЛЛИ
(1469-1527)

Рассуждения о первой декаде Тита Ливия

Вступление

Люди всегда хвалят – но не всегда с должными основаниями – старое время, а нынешнее порицают. При этом они до того привержены прошлому, что восхваляют не только те давние эпохи, которые известны им по свидетельствам, оставленным историками, но также и те времена, которые они сами видели в своей молодости и о которых вспоминают, будучи уже стариками. В большинстве случаев таковое их мнение оказывается ошибочным. Мне это ясно, потому что мне понятны причины, вызывающие у них подобного рода заблуждения.

Прежде всего, заблуждение это порождается, по-моему тем, что о делах далекого прошлого мы не знаем всей правды: то, что могло бы очернить те времена, чаще всего скрывается, то же, что могло бы принести им добрую славу, возвеличивается и раздувается. Большинство историков до того ослеплены счастьем победителей, что, дабы прославить их победы, не только преувеличивают все то, что названными победителями было доблестно совершено, но также и действия их врагов разукрашивают таким образом, что всякий, кто потом родится в любой из двух стран, победившей или побежденной, будет иметь причины восхищаться тогдашними людьми и тогдашним временем и будет принужден, в высшей степени прославлять их и почитать. Кроме того, поскольку люди ненавидят что-либо по причине либо страха, либо зависти, то, сталкиваясь с делами далекого прошлого, они теряют две важнейшие причины, из-за которых они могли бы их ненавидеть, ибо прошлое не может тебя обижать и у тебя нет причин его завидовать. Иное дело события, в которых мы участвуем и которые находятся у нас перед глазами: познание открывает их со всех сторон; и, познавая в них вместе с хорошим много такого, что тебе не по нутру, ты оказываешься вынужденным оценивать их много ниже событий древности даже тогда, когда, по справедливости, современность заслуживает гораздо больше славы и доброй репутации, нежели античность. Я говорю это не о произведениях искусства, которые столь ясно свидетельствуют сами за себя, что время мало может убавить и прибавить к той славе, коей они заслуживают, – я говорю это о том, что имеет касательство к жизни и нравам людей и чему нет столь же неоспоримых свидетелей.

Итак, повторяю: невозможно не признать, что у людей имеется обыкновение хвалить прошлое и порицать настоящее. Однако нельзя

утверждать, что, поступая так, люди всегда заблуждаются. Сама необходимость требует, чтобы в каких-то случаях они судили верно. Ведь, находясь в вечном движении, дела человеческие идут либо вверх, либо вниз. Бывает, что город или страна упорядочивается для гражданской жизни каким-нибудь выдающимся человеком и известное время, благодаря его личной доблести, дела у них развиваются к лучшему. Кто, родившись в ту пору, при тогдашнем строе станет хвалить древность больше, чем современность, допустит ошибку, и причиной его ошибки будут выше рассмотренные обстоятельства. Но родившиеся после него в том же городе или стране, когда этот город или страна вступят в полосу упадка, судя так же, как он, будут судить правильно.

Размышляя о ходе дел человеческих, я прихожу к выводу, что мир всегда остается одинаковым, — что в мире этом столько же дурного, сколько и хорошего, но что это зло и добро переключаются из страны в страну. Это подтверждают имеющиеся у нас сведения о древних царствах, которые сменяли друг друга вследствие изменения нравов, а мир при этом оставался одним и тем же. Разница состояла лишь в том, что та самая доблесть, которая прежде помещалась в Ассирии, переместилась в Мидию, затем в Персию, а из нее перешла в Италию и Рим. И хотя за Римской империей не последовало империи, которая просуществовала бы длительное время и в которой мир сохранил бы свою доблесть целостной, мы все-таки видим ее рассеянной среди многих наций, живущих доблестной жизнью. Пример тому королевство Франции, царство турок и царство султана, а ныне — народы Германии и прежде всего секта сарацинов, которая совершила многие великие подвиги и захватила значительную часть мира после того, как она сокрушила Восточную Римскую империю. Так вот, во всех этих странах после падения римлян и во всех этих сектах сохранялась названная доблесть, и в некоторых из них до сих пор имеется то, к чему надобно стремиться и что следует по-настоящему восхвалять. Всякий, кто, родившись в тех краях, примется хвалить прошлые времена больше, нежели нынешние, допустит ошибку. Но тот, кто родился в Италии и в Греции и не стал — в Италии французом или германцем, а в Греции — турком, имеет все основания хулить свое время и хвалить прошлое. Ибо некогда там было чем восхищаться; ныне же ничто не может искупить крайней нищеты, гнусности и позора: в странах сих не почитается религия, не соблюдаются законы и отсутствует армия; теперь они замараны всякого рода мерзостью. И пороки их тем более отвратительны, что больше всего они гнездятся в тех, кто восседает *pro tribunali*, кто командует другими и кто желает быть боготворимым.

Но вернемся к нашему рассуждению. Если, как утверждаю я, люди ошибаются, определяя, какой век лучше, нынешний или древний, ибо не знают древности столь же хорошо, как свое время, то казалось бы, старикам не должно заблуждаться в оценках поры собственной юности и старости – ведь и то и другое время известно им в равной мере хорошо, так как они видели его собственными глазами. Это было бы справедливо, если бы люди во все возрасты жизни имели одни и те же суждения и желания; но поскольку люди меняются скорее, чем времена, последние не могут казаться им одинаковыми, ибо в старости у людей совсем не такие желания, пристрастия и мысли, какие были у них в юности. Когда люди стареют, у них убывает сила и прибавляется ума и благоразумия. Поэтому неизбежно, что все то, что в юности казалось им сносным или даже хорошим, в старости кажется дурным и невыносимым. Однако вместо того, чтобы винить рассудок, они обвиняют время.

Кроме того, так как желания человеческие ненасытны и так как природа наделила человека способностью все мочь и ко всему стремиться, а фортуна позволяет ему достигать лишь немногого, то следствием чего оказывается постоянная духовная неудовлетворенность и пресыщенность людей тем, чем они владеют, именно это заставляет их хулить современность, хвалить прошлое и жадно стремиться к будущему даже тогда, когда у них нет для этого какого-нибудь разумного основания.

Не знаю, возможно, и я заслужил того, чтобы быть причисленным к заблуждающимся, ибо в этих моих рассуждениях я слишком хвалю времена древних римлян и ругаю наше время. Действительно, не будь парившая тогда доблесть и царствующий ныне порок яснее солнца, я вел бы себя более сдержанно, опасаясь впасть в ту самую ошибку, в которой я обвиняю других. Но так как все это очевидно для каждого, то я стану говорить смело и без обиняков все, что думаю о той и о нашей эпохе, дабы молодежь, которая прочтет сии мои писания, могла бежать от нашего времени и быть готовой подражать античности, как только фортуна предоставит ей такую возможность. Ведь обязанность порядочного человека – учить других, как сделать все то хорошее, чего сам он не сумел совершить из-за зловредности времени и фортуны. Когда окажется много людей, способных к добру, некоторые из них – те, что будут более всех любезны небу, – смогут претворять это добро в жизнь.

Поскольку в рассуждениях предыдущей книги говорилось о решениях, принимавшихся римлянами по вопросам, касавшимся внутренних дел города, то в этой книге мы поговорим уже о том, что предпринял римский народ для расширения своей державы.

Макиавелли Н. Избранные сочинения. М., 1982. С. 442-446.

Мишель де МОНТЕНЬ (1533-1592)

Опыты

О непостоянстве наших постников

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший в одних случаях выступал как сын Марса, в других – как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII, как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон – это подлинное воплощение человеческой жестокости, – когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» – так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть. Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их себе сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди иногда пытаются подвести все человеческие поступки под один ранжир, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы...

Есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни; но, принимая во внимание естественное непостоянство наших обычаев и взглядов, мне часто казалось, что напрасно даже лучшие авторы упорствуют, стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ, и исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не укладываются в эту рамку, они отменяют все отступления от нее. С Августом, однако, у них дело не вышло, ибо у этого человека было такое явное, неожиданное и постоянное сочетание самых разных поступков в течение всей его жизни, что даже самые смелые судьи были вынуждены признать его лишенным цельности, неодинаковым и неопределенным. Мне труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего – непостоянство. Чаще всего окажется прав в своих суждениях на этот счет тот, кто вникнет во все детали и разберет один за другим каждый поступок.

На протяжении всей древней истории трудно найти десяток людей, которые подчинили бы свою жизнь определенному и установленному

плану, что является главной целью мудрости. Ибо, как говорит один древний автор, если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость – это «всегда желать и всегда не желать той же самой вещи». «Я не считаю нужным, – говорил он, – прибавлять к этому: лишь бы желание было справедливым, так как, если бы оно не было таковым, оно не могло бы быть всегда одним и тем же». Действительно, я давно убедился, что порок есть не что иное, как нарушение порядка и отсутствие меры, и, следовательно, исключает постоянство. Передают, будто Демосфен говорил, что «началом всякой добродетели является взвешивание и размышление, а конечной целью и увенчанием ее – постоянство». Если бы мы выбирали определенный путь по зрелом размышлении, то мы выбрали бы наилучший путь, но никто не думает об этом.

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы меняем то, что только что решили, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство.

Мы не идем, а нас несет подобно предметам, которые уносятся течением реки то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива.

Каждый день нечто новое приходит нам на ум, и наши настроения меняются вместе с течением времени.

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного.

В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл обратил внимание на одну странность в характере агригентов: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как им предстояло бы жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего: тут тронь одну клавишу – и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. У себя же мы видим обратное: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяс-

нить наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в более тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны гнусного солдата, поселившегося в её доме; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло ножом, но ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и предложением подарков, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого – ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, – точь-в-точь вторая Лукреция. Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит пословица, если ты, будучи тих и скромн, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывода о не непреступности: придет час – и погонщик мулов свое получит.

Антигон, которому один из его солдат полюбился храбростью и добродетелью, приказал своим врачам вылечить его от болезни, которая давно его подтачивала. Заметив, что после своего выздоровления солдат стал гораздо менее отважным в бою, Антигон спросил его, почему он так изменился и утратил мужество. «Ты сам, государь, причиной тому, – ответил солдат, – ибо избавил меня от страданий, из-за которых мне жизнь была не мила». Один из солдат Лукулла был ограблен кучкой вражеских воинов и, пылая мстью, совершил смелое и успешное нападение на них. Когда солдат вознаграждал себя за потерю, Лукулл, оценив его храбрость, захотел использовать его в одном задуманном им смелом деле и стал уговаривать его, соблазняя самыми заманчивыми обещаниями, какие он только мог придумать.

«Поручи это дело, – ответил тот, – какому-нибудь бедняге, обчищенному ими», и наотрез отказался.

Махмед однажды резко обрушился на предводителя своих янычар Гасана за то, что тот допустил, чтобы венгры обратили в бегство его отряд, и трусливо вел себя в сражении. В ответ на это Гасан, не промолвив ни слова, яростно бросился один, как был с оружием в руках, на первый попавшийся отряд неприятеля и был тотчас же изрублен. Это было не столько попыткой оправдаться, сколько переменою чувств, и говорило не столько о природной доблестности, сколько о новом взрыве отчаяния.

Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда, в

чем-нибудь, или какая-нибудь товарищеская компания, или выпитое вино, или звук трубы заставили его сердце уйти в пятки. Ведь дело идет здесь не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других – что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна к добру, другая – к злу, ибо столь резкий переход от одной крайности к другой не может 'быть объяснен иначе.

Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, помимо того, меняюсь по присущей мне внутренней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я предаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее поворачиваю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек. Тут происходит какое-то чередование всех заключенных во мне противоположностей. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительство. Все это в той или иной степени я в себе нахожу, в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе простого, цельного и устойчивого, я не могу сказать о себе единым словом, без сочетания противоположностей.

Должен указать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всяких обстоятельствах. Если бы это было проявлением постоянной доблести, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится в обществе других; как во время поединка, так и в сражении;

ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет также стойко переносить болезнь в постели, как и ранее на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс или потеряв сына.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность или боящийся бритвы цирюльник обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Многие греки, говорит Цицерон, не выносят вида врагов и стойко переносят болезни, и как раз обратное наблюдается у кимвров и кельтиберов.

Нет высшей храбрости в своем роде, чем храбрость Александра Македонского, но и она – храбрость лишь особого рода, не всегда себе равная и всеобъемлющая. Как ни несравненна она, на ней все же есть пятна. Так, мы знаем, что он совсем терял голову при самых слабых возникавших у него подозрениях относительно козней его приверженцев, якобы покушавшихся на его жизнь; мы знаем, с каким неистовством и необузданным пристрастием он бросался на расследование этого дела, объятый страхом, который мутил его природный разум. И то суеверие, которому он так сильно поддавался, тоже носит характер известного малодушия. Его чрезмерное раскаяние в убийстве Клита тоже говорит за то, что его храбрость не всегда была одинакова.

Наши поступки – не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия, и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно; если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его самому себе – он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота.

Неудивительно, говорит один древний автор, что случай имеет над нами такую огромную власть: ведь то, что мы живем, – тоже случайность. Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий. Тот, кто не имеет пред-

ставления о целом, не может распределить и частей. К чему набор красок тому, кто не знает, что он будет ими писать? Никто не строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумываем эти планы лишь по частям. Стрелок прежде всего должен знать свою мишень, а затем уже он приспособливает к ней свою руку, лук, стрелу, все свои движения. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и назначения. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Я не согласен с тем решением, которое было вынесено судом относительно Софокла и которое, вопреки иску его сына, признавало Софокла способным к управлению своими домашними делами на основании только одной его прослушанной судьями трагедии.

Я не нахожу также, что паросцы, посланные положить конец неурядицам милетян, сделали правильный вывод из своего наблюдения. Прибыв в Милет, они обратили внимание на то, что некоторые поля лучше обработаны и некоторые хозяйства ведутся лучше, чем другие; они записали имена хозяев этих полей и хозяйств и, созвав народное собрание, объявили, что вручают этим людям управление государством, так как они считают, что эти хозяева будут так же заботиться об общественном достоянии, как они заботились о своем собственном.

Мы все лишены цельности и состоим из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Так как честолюбие может внушить людям и храбрость, и уверенность, и щедрость, и даже иногда справедливость; так как жадность способна пробудить в мальчике – подручном из лавочки, выросшем в бедности и безделье, смелую уверенность в своих силах и заставить его покинуть отчий дом и плыть в утлом суденышке, отдавшись воле волн разгневанного Нептуна, и в то же время жадность способна научить скромности и осмотрительности, ибо сама Венера порождает смелость и решимость в юношах, еще сидящих на школьной скамье, и возбуждает гнев в нежных сердцах девушек, охраняемых матерями, то не дело зрелого ума судить о нас поверхностно, лишь по нашим внешним поступкам. Следует искать внутри нас, спустившись до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы по возможности меньше людей занимались этим.

Монтень М. Опыты. М.: Л., 1958. Кн.2. С.7-14.

4. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII ВЕКА О ЧЕЛОВЕКЕ

Эпоха Возрождения передала XVII веку нерешенные проблемы теории познания и метода: ощущения или разум, интуиция или рассуждения, пантеистическая диалектика или строгая математика пролагают дорогу к истине? Складываются великие философские системы Ф. Бэкона (1561-1626), Р. Декарта (1596-1650), Т. Гоббса (1538-1679), Б. Спинозы (1632-1677), Г.В. Лейбница (1646-1716). Они отвечают духу эпохи и выражают ту временную победу, которую в борьбе двух односторонних методов – сенсуализма и рационализма – одерживает второй из них. Поэтому XVII век называют веком великих систем, веком философии, веком рационализма. Он брал верх, имел глубокие корни в экономической, технической, а отсюда и в научной деятельности эпохи. Механика, астрономия и математика стали руководительницами прочих наук, и их точка зрения на мир стала господствующей.

XVII век нес с собой подъем чувства личности и разрушение прошлой системы ценностей. Не покорный долгу рыцарь и не благочестивый монах-отшельник, а предприимчивый купец и любознательный ученый становятся теперь олицетворением человеческого идеала.

Материалисты, а также некоторые крупные идеалисты XVII в. (и первый среди них великий Лейбниц) верили в то, что философия способна стать наукой и должна стать ею. Науку же рассматривали как высшую ценность, практическая приложимость которой ещё больше возвышает познающую деятельность разума.

Философия истории XVII века детерминировалась многими факторами, но прежде всего социально-экономическими.

По-разному сложились судьбы этих систем, и когда они исчерпали свои теоретические и социальные возможности, их сменили чуждые системосозиданию эмпирические учения XVIII века. Пришедшие им на смену теории использовали из них уроки долгих споров о методе познания, месте человека в окружающем мире, об освобождении его мысли от духовной диктатуры церкви и целях его деятельности.

Лучшие достижения мысли XVII века интересны не были, они сохранились в форме постановки вопросов – о «естественных» правах человека, их обосновании, о понятии «общественного договора» как рычага построения антитеологической и антифеодальной картины социального развития, о преимуществах и недостатках рационализма и сенсуализма и т.д.

Задание. Прочитайте приведенные философские тексты и ответьте на вопросы:

1. Кому из философов принадлежат следующие высказывания:

"Знание – сила".

"Я мыслю, следовательно, я существую".

"Нет ничего в интеллекте, чего не было бы до этого в ощущениях".

"Война всех против всех".

"Деньги – кровь государства".

2. В чем смысл эмпирико-индуктивного метода Ф. Бэкона? В чем видит Бэкон искания человеческого сознания? (Учение об идолах).

3. В чем сходство и различие теории государства в философии Локка и Гоббса?

4. Каковы педагогические идеи Локка?

5. Поясните мысль Б. Паскаля: "Величие человека – в его способности мыслить". Как понимает автор величие человека?

6. Что такое мудрость в понимании Лейбница и каковы основные принципы достижения её?

7. Как Спиноза объясняет мысль о том, что "в природе нет ни добра, ни зла"?

8. Какие философские утопии XVII века Вам известны?

9. Чем отличается идеал человека XVII века от идеала предыдущей эпохи?

Фрэнсис БЭКОН (1561-1626)

Опыты или наставления нравственные и политические

О человеческой природе

Природа в человеке часто бывает сокрыта, иногда подавлена, но редко истреблена. Принуждение заставляет природу жестоко мстить за

себя, поучения несколько смиряют ее порывы, но только привычка может ее переделать и покорить.

Кто стремится побудить в себе природу, пусть не ставит себе ни чрезмерно трудных, ни слишком легких задач, ибо в первом случае будет удручен частыми неудачами, а во втором – слишком мало сделает успехов, хотя побеждать будет часто. И пусть вначале облегчает себе дело, подобно пловцу, прибегающему к пузырям или камышовым связкам; а немного погодя пусть ставит себя, напротив, в трудных условиях, как делают танцоры, упражняясь в тяжелых башмаках. Ибо для полного совершенства надо, чтобы подготовка была труднее самого дела.

Где природа могущественна и победа, следовательно, трудна, первым шагом к ней должно быть умение вовремя обуздать свой порыв: так, некоторые, желая остудить гнев, повторяют про себя азбуку; затем, следуя себя ограничить так, отучаясь от вина, переходят от заздравных кубков к одному глотку за едой; а там и совсем оставить свою привычку. Но если хватает у человека стойкости и решимости покончить с ней разом, это всего лучше. Может пригодиться и старое правило: гнуть природу в противоположную сторону, чтобы тем самым выпрямить; не это лишь тогда, разумеется, когда противоположная крайность не будет пороком.

Пусть никто не понуждает себя к чему-либо непрерывно, но дает себе передышку, ибо она позволяет набраться сил для новых попыток, а кроме того, если человек, не утвердившись ещё в новых правилах, беспрестанно себя упражняет, он заодно с хорошими упражняет и дурные свои свойства, укрепляя в себе к ним привычку; а помочь тут можно лишь своевременной передышкой. И пусть никто не верит вполне победой над своей природой, ибо природа может долгое время не давать о себе знать и вновь ожить при случае или соблазне. Так это было с Эзоповой девицей, превращенной из кошки в женщину: уж на что она чинно сидела за столом, пока не пробежала мимо нее мышь. А потому пусть человек либо вовсе избегает соблазна, либо почаще ему подвергается, дабы стать к нему нечувствительным.

Природу человека всего легче обнаружить в уединении, ибо тут он сбрасывает с себя все показное; в порыве страсти, ибо когда забывает он свои правила; а также в новых обстоятельствах, ибо здесь покидает его сила привычки.

Счастливы те, чья природа находится в согласии с их занятиями. Занимаясь науками, пусть человек назначает часы тому, к чему себя побуждает; а для того, что согласно с его природой, пусть не заботится

отводить особое время, ибо мысли его и сами будут к этому обращаться, насколько позволят другие дела и занятия.

В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; пусть же он своевременно поливает первые и истребляет вторую.

Бэкон Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 438-439.

**Томас ГОББС
(1588-1679)**

Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского

О естественном состоянии человеческого рода в его отношении к счастью и бедствиям людей

Люди равны от природы. Природа создала людей равными в отношении физических и умственных способностей, ибо, хотя мы наблюдаем иногда, что один человек физически сильнее или умнее другого, однако, если рассмотреть все вместе, то окажется, что разница между ними не настолько велика, чтобы один человек, основываясь на ней, мог претендовать на какое-нибудь благо для себя, на которое другой не мог бы претендовать с таким же правом. В самом деле, что касается физической силы, то более слабый имеет достаточно силы, чтобы путем тайных махинаций или союза с другими, кому грозит та же опасность, убить более сильного. Что же касается умственных способностей (я оставляю в стороне искусства, имеющие свою основу в словах, и особенно искусство доходить до общих и непреложных правил, называемое наукой, каковыми правилами обладают немногие, и то лишь в отношении немногих вещей, ибо правила эти не врожденные способности, родившиеся с нами, а также не приобретены (как благоразумие) в процессе наблюдения над чем-то другим), то я нахожу в этом отношении даже большее равенство среди людей, чем в отношении физической силы, ибо благоразумие есть лишь опыт, который в одинаковое время приобретает в равной мере всеми людьми относительно тех вещей, которыми они с одинаковым усердием занимаются. То, что может сделать такое равенство невероятным, есть лишь суетное представление о собственной мудрости, присущее всем людям, полагающим, что они обладают мудростью в большей степени, чем простонародье, т.е. чем все другие

люди, кроме них самих и немногих других, которых они одобряют потому ли, что они прославились, или же потому, что они являются их единомышленниками. Ибо такова природа людей. Хотя они могут признать других более остроумными, более красноречивыми и более образованными, но с трудом поверят, что имеется много людей столь же умных, как они сами. И это потому что свой ум они наблюдают вблизи, а ум других – на расстоянии. Но это обстоятельство скорее говорит о равенстве, чем о неравенстве людей в этом отношении. Ибо нет лучшего доказательства равномерного распределения какой-нибудь вещи среди людей, чем то, что каждый человек доволен своей долей.

Из-за равенства простирается взаимное недоверие. Из этого равенства способностей вытекает равенство надежд на достижение наших целей. Вот почему, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не могут обладать вдвоем, они становятся врагами. На пути к достижению их целей (которая состоит главным образом в сохранении жизни, а иногда в одном лишь наслаждении) они стараются погубить или покорить друг друга. Таким образом, выходит, что там, где человек может отразить нападение лишь своими собственными силами, он, сажая, сея, строя или владея каким-нибудь приличным имуществом, может с вероятностью ожидать, что придут другие люди и соединенными силами отнимут его владения и лишат его не только плодов собственного труда, но также жизни или свободы. А нападающий находится в такой же опасности со стороны других.

Из-за взаимного недоверия – война. Из этого взаимного недоверия людей нет более разумного пути для человека к обеспечению своей жизни, как принятие предупредительных мер, т.е. силой или хитростью держать в узде всех, кого он может, до тех пор, пока не убедится, что нет другой силы, достаточно внушительной, чтобы быть для него опасной. Это не выходит из рамок мер, требуемых для самосохранения, и обычно считается допустимым. Так как среди людей имеются такие, которые ради одного наслаждения созерцать свою силу во время завоеваний ведут эти завоевания дальше, чем этого требует безопасность, то и другие, которые в иных случаях были бы рады спокойно жить в обычных условиях, не были бы способны долго сохранять своё существование, если бы не увеличивали свою власть путем завоеваний и ограничались бы только обороной. Отсюда следует, что такое увеличение власти над людьми, поскольку оно необходимо для самосохранения человека, также должно быть позволено ему.

Мало того, там где нет власти, способной держать в подчинении всех, люди не испытывают никакого удовольствия (а, напротив, значи-

тельную горечь) от жизни в обществе. Ибо каждый человек добивается того, чтобы его товарищ ценил его, как он сам себя ценит, и при всяком проявлении презрения или пренебрежения, естественно, пытается, поскольку у него хватает смелости (а там, где нет общей власти, способной заставить людей жить в мире, эта смелость доходит до того, что они готовы погубить друг друга), вынудить у своих хулителей более высокое уважение к себе: у одних – наказанием, у других – примером.

Таким образом, мы находим в природе человека три основные причины войны: во-первых, соперничество; во-вторых, недоверие; в-третьих, жажду славы.

Первая причина заставляет людей нападать друг на друга в целях наживы, вторая – в целях собственной безопасности, а третья – из соображений чести. Люди, движимые первой причиной, употребляют насилие, чтобы сделаться хозяевами других людей, их жен, детей, скота; люди, движимые второй причиной, употребляют насилие в целях самозащиты; третья же категория людей прибегает к насилию из-за пустяков вроде славы, улыбки, из-за несогласия во мнении и других проявлений неуважения, непосредственно ли по их адресу или по адресу их родни, друзей, их народа, сословия или имен.

При отсутствии гражданского состояния всегда, ищется война всех против всех. Отсюда очевидно, что, пока люди живут без общей власти, держащей всех их в страхе, они находятся в том состоянии, которое называется войной, и именно в состоянии войны против всех. Ибо **война** есть не только сражение, или военное действие, а промежуток времени, в течение которого явно сказывается воля к борьбе путем сражения. Вот почему время должно быть включено в понятие войны, так же как и в понятие погоды. Подобно тому, как понятие дурной погоды заключается не в одном или двух ливнях, а в наклонности к этому в течение многих дней подряд, точно так же и понятие войны состоит не в происходящих боях, а в явной устремленности к ним в течение всего того времени, пока нет уверенности в противном. Все остальное время есть мир.

Неудобство подобной войны. Вот почему все, что характерно для времени войны, когда каждый является врагом каждого, характерно также для того времени, когда люди живут без всякой другой гарантии безопасности, кроме той, которую им дают их собственная физическая сила и изобретательность. В таком состоянии нет места для трудолюбия, так как никому не гарантированы плоды его труда, и потому нет земледелия, судоходства, морской торговли, удобных зданий, нет средств движения и передвижения вещей, требующих большой силы,

нет знания земной поверхности, исчисления времени, ремесла, литературы, нет общества, а, что хуже всего, есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, и жизнь человека одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна.

Кое-кому недостаточно взвесившему эти вещи может показаться странным допущение, что природа так разобщает людей и делает их способными нападать друг на друга, разорять друг друга; не доверяя этому выводу, сделанному на основании страстей, он, может быть, пожелает иметь подтверждение этого вывода опытом. Так вот пусть такой сомневающийся сам поразмыслит над тем обстоятельством, что отправляясь в путь, он вооружается и старается идти в большой компании; что, отправляясь спать, он запирает двери; что даже в своем доме он запирает ящики, и это тогда, когда он знает, что имеются законы и вооруженные представители власти, готовые отомстить за всякую причиненную ему несправедливость. Какое же мнение имеет он о своих согражданах, отправляясь в путь вооруженным, какое мнение имеет он о своих согражданах, запирая свои двери, о своих детях и слугах, запирая свои двери? Разве он не в такой же мере обвиняет человеческий род своими действиями, как я моими словами? Однако никто из нас не обвиняет человеческую природу саму по себе. Желания и другие человеческие страсти сами по себе не являются грехом. Грехом также не могут считаться действия, проистекающие из этих страстей, до тех пор, пока люди не знают закона, запрещающего эти действия; а такого закона они не могут знать до тех пор, пока он не издан, а изданным он не может быть до тех пор, пока люди не договорились насчет того лица, которое должно его издавать.

Может быть, кто-нибудь подумает, что такого времени и такой войны, как изображенные мной, никогда не было; да и я не думаю, чтобы они когда-либо существовали как общее правило по всему миру. Однако есть много мест, где люди живут так и сейчас. Например, дикие племена во многих местах Америки не имеют никакого правительства, кроме власти маленьких родов-семей, внутри которых мирное сожительство обусловлено естественными вожделениями, и живут они по сю пору в том животном состоянии, о котором я говорил раньше. Во всяком случае, какова была бы жизнь людей при отсутствии общей власти внушающей страх, можно видеть из того образа жизни, до которого люди, жившие раньше под властью мирного правительства, обыкновенно опускаются во время гражданской войны.

Хотя никогда и не было такого времени, когда бы частные лица находились в состоянии войны между собой, короли и лица, облечен-

ные верховной властью, вследствие своей независимости всегда находятся в состоянии непрерывной зависти и в состоянии и положении гладиаторов, направляющих оружие друг на друга и зорко следящих друг за другом. Они имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих королевств и постоянных шпионов у своих соседей, что является состоянием войны. Но так как они при этом поддерживают трудолюбие своих подданных, то указанное состояние не приводит к тем бедствиям, которые сопровождают свободу частных лиц.

В подобной войне ничто не может быть не справедливым. Состояние войны всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто не может быть несправедливым. Понятия **правильного и неправильного, справедливого и несправедливого** не имеют здесь места. Там, где нет общей власти, нет закона, а там, где нет закона, нет несправедливости. Сила и коварство являются на войне двумя кардинальными добродетелями. Справедливость и несправедливость не являются ни телесными, ни умственными способностями. Если они были бы таковыми, они подобно ощущениям и страстям должны были бы быть присущи и человеку, существующему изолированно. Но справедливость и несправедливость есть качества людей, живущих в обществе, а не в одиночестве. Указанное состояние характеризуется также отсутствием собственности, владения, отсутствием точного разграничения между моим и твоим. Каждый человек считает своим лишь то, что он может добыть, к лишь до тех пор, пока он в состоянии удержать это. Всем предыдущим достаточно сказано о том плохом положении, в которое поставлен человек в естественном состоянии, хотя он имеет возможность выйти из этого положения – возможность, состоящую отчасти в страстях, а отчасти в его разуме.

Страсти, склоняющие людей к миру. Страсти, делающие людей склонными к миру, суть страх смерти, желание вещей, необходимых для хорошей жизни, и надежда приобрести их своим трудолюбием. А разум подсказывает подходящие условия мира, на основе которых люди могут прийти к соглашению. Эти условия есть суть то, что иначе называется естественными законами, о которых я более подробно буду говорить в последующих двух главах.

О причинах, возникновении и определении государства

Цель государства – главным образом обеспечение безопасности. Конечной причиной, целью или намерением людей (которые от природы любят свободу и господство над другими) при наложении на себя уз (ко-

торыми они связаны, как мы видим, живя в государстве) является забота о самосохранении и при этом более благоприятной жизни. Иными словами, при установлении государства люди руководятся стремлением избавиться от бедственного состояния войны, являющегося необходимым следствием естественных страстей людей там, где нет видимой власти, держащей их в страхе и под угрозой наказания, принуждающей их к выполнению соглашений и соблюдению естественных законов.

Каковая не гарантируется естественным законом. В самом деле, естественные законы (как справедливость, беспристрастие, скромность, милосердие и (в общем) поведение по отношению к другим так, как мы желали бы, чтобы поступали по отношению к нам) сами по себе, без страха какой-нибудь силы, заставляющей их соблюдать, противоречат естественным страстям, влекущим нас к пристрастию, гордости, мести и т.п. А соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гарантировать человеку безопасность. Вот почему, несмотря на наличие естественных законов (которым каждый человек следует, когда он желает им следовать, когда он может делать это без всякой опасности для себя), каждый будет и может вполне законно применять свою физическую силу и ловкость, чтобы обезопасить себя и всех других людей, если нет установленной власти достаточно сильной, чтобы обеспечить нам безопасность. И везде, где люди жили маленькими семьями, они грабили друг друга; это считалось настолько совместимым с естественным законом, что, чем больше человек нагрabил, тем больше это доставляло ему чести. В этих делах люди не соблюдали никаких других законов, кроме законов чести, а именно они воздерживались от жестокости, оставляя людям их жизнь и сельскохозяйственные орудия. Как прежде маленькие семьи, так теперь города и королевства, являющиеся большими родами (для собственной безопасности), расширяют свои владения под всяческими предлогами: опасности, боязни завоеваний или помощи, которая может быть оказана завоевателю. При этом они изо всех сил стараются подчинить и ослабить своих соседей грубой силой и тайными махинациями, и, поскольку нет других гарантий безопасности, они поступают вполне справедливо, и в веках их деяния вспоминают со славой.

А также соединением небольшого количества людей или семейств. Гарантией безопасности не может служить также объединение небольшого числа людей, ибо малейшее прибавление к той или иной стороне доставляет ей такое большое преимущество в физической силе, которое вполне обеспечивает ей победу и потому поощряет к завоеванию. То количество сил, которому мы можем доверять нашу безопасность, определяется не каким-то числом, а отношением этих сил к си-

лам врага; в том случае для нашей безопасности достаточно, когда избыток сил на стороне врага не настолько велик, чтобы он мог решить исход войны и побудить врага к нападению...

Происхождение государства. Такая общая власть, которая была бы способна защищать людей от вторжения чужеземцев и от несправедливостей, причиняемых друг другу, и, таким образом, доставить им ту безопасность, при которой они могли бы кормиться от трудов рук своих и от плодов земли и жить в довольстве, может быть воздвигнута только одним путем, а именно путем сосредоточения всей власти и силы в одном человеке или в собрании людей, которое большинством голосов могло бы свести все воли граждан в единую волю. Иначе говоря, для установления общей власти необходимо, чтобы люди назначили одного человека или собрание людей, которые явились бы их представителями; чтобы каждый человек считал себя доверителем в отношении всего, что носитель общего лица будет делать сам или заставит делать других в целях сохранения общего мира и безопасности, и признавал себя ответственным за это; чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и суждению носителя общего лица. Это больше, чем согласие или единодушие. Это реальное единство, воплощенное в одном лице посредством соглашения, заключенного каждым человеком с каждым другим таким образом, как если бы каждый человек сказал каждому другому: я уполномочиваю этого человека или это собрание лиц и передаю ему мое право управлять собой при том условии, что ты таким же образом передашь ему свое право и санкционируешь все его действия. Если это совершилось, то множество людей, объединенное таким образом в одном лице, называется государством. Таково рождение того великого Левиафана или, вернее (выражаясь более почтительно), того смертного бога, которому мы под владычеством бессмертного бога обязаны своим миром и своей защитой. Ибо благодаря полномочиям, данным им каждым отдельным человеком в государстве, указанный человек или собрание лиц пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает этого человека или это собрание лиц способным направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи против внешних врагов.

Определение государства. В этом человеке или собрании лиц состоит сущность государства, которая нуждается в следующем определении: государство есть единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя путем взаимного договора между собой огромное множе-

ство людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтет необходимым для их мира и общей защиты.

Что такое суверен и подданный. Тот, кто является носителем этого лица, называется сувереном, и о нем говорят, что он обладает верховной властью: а всякий другой является его подданным. Для достижения верховной власти имеются два пути. Один путь - это физическая сила, например, когда кто-нибудь заставляет своих детей подчиниться своей власти под угрозой погубить их в случае отказа или путем войны подчиняет своей воле врагов, даруя им на этом условии жизнь. Второй путь – это добровольное соглашение людей подчиниться человеку или собранию людей в надежде, что этот человек или это собрание сумеет защитить их против всех других. Такое государство может быть названо политическим государством, или государством, основанным на установлении, а государство, основанное первым путем, – государством, основанным на приобретении.

В первую очередь я буду говорить о государстве, основанном на установлении.

Гоббс Т. Избранные произведения: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 149-155, 192-193, 196-197.

**Джон ЛОКК
(1632-1704)**

О модусах удовольствия и страдания

1. УДОВОЛЬСТВИЕ И СТРАДАНИЕ – ПРОСТЫЕ ИДЕИ. Среди простых идей, получаемых и от ощущения и от рефлексии, страдание и удовольствие являются очень значительными. Как в теле ощущение или бывает просто само по себе, или сопровождается страданием, или удовольствием, так и мысль, или восприятие в уме, или бывает простой, самой по себе, или точно так же сопровождается удовольствием, либо страданием, наслаждением либо печалью – называйте это как хотите. Подобно другим простым идеям, эти идеи не могут быть описаны, их названиями нельзя дать определения. Единственный способ познать их, как и другие простые идеи чувств, есть опыт, дать им определение исходя из наличия добра и зла – не что иное как сделать их известными нам, заставляя нас размышлять только о том, что мы в себе чувствуем при различных воздействиях добра и зла на наш ум, поскольку добро и зло различным образом относятся к нам или рассматриваются нами.

2. ЧТО ТАКОЕ ДОБРО И ЗЛО? Таким образом, вещи бывают добром и злом только в отношении удовольствия и страдания. Добром мы называем то, что способно вызвать или увеличить наше удовольствие либо уменьшить наше страдание или же обеспечить либо сохранить нам обладание каким-нибудь другим благом или же отсутствие какого-нибудь зла. Злом, напротив, мы называем то, что способно причинить нам или увеличить какое-нибудь страдание, либо уменьшить какое-нибудь удовольствие: либо лишить нас какого-нибудь блага. Под "удовольствием" и "страданием" я разумею то, что относится либо к телу, либо к душе, как это различают обыкновенно, хотя, говоря по правде, это только различные состояния ума, вызываемые иногда расстройством в теле, иногда же — мыслями в уме.

3. НАШИ СТРАСТИ ДВИЖИМЫ ДОБРОМ И ЗЛОМ. Удовольствие и страдание и то, что их вызывает, — добро и зло, суть стержни, вокруг которых вращаются наши страсти. И если мы поразмыслим о себе и понаблюдаем, как они при различных обстоятельствах на нас воздействуют и какие модификации или настроения ума, какие внутренние ощущения (если можно так назвать их) производят, то мы можем составить себе идеи наших страстей.

4. ЛЮБОВЬ. Так, каждый размышляющий человек при мысли о наслаждении, которое может доставить ему присутствие или отсутствие какой-нибудь вещи, имеет идею, называемую нами любовью. Если человек заявляет осенью, когда он ест виноград, или весной, когда его совсем нет, что он любит виноград, то его восхищает не что иное, как вкус винограда. Пусть он из-за перемены в здоровье или организме не испытывает наслаждения от этого вкуса, и уже нельзя будет больше сказать, что он любит виноград.

5. НЕНАВИСТЬ. Наоборот, мысль о страдании, которое может причинить нам присутствие или отсутствие какой-нибудь вещи, мы называем ненавистью. Если бы моей задачей было здесь исследовать нечто большее, чем чистые идеи наших страстей в их зависимости от различных модификаций удовольствия и страдания, я заметил бы что наша любовь и ненависть к неодушевленным, бесчувственным предметам основывается обыкновенно на том удовольствии и страдании, которое мы получаем от пользования или и применения их каким-нибудь образом к нашим чувствам, хотя бы они при этом и уничтожались, тогда как ненависть или любовь к существам, способным испытывать счастье или несчастье, нередко есть неудовольствие или наслаждение, возникающее в нас самих при рассмотрении их жизни и счастья. Когда, например, жизнь и благополучие собственных детей или друзей доставляют

человеку постоянное наслаждение, то про него говорят, что он неизменно любит их. Нужно, однако отметить, что идеи любви и ненависти есть только состояния души по отношению к удовольствию и страданию вообще, независимо от того, чем они были вызваны в нас.

6. **ЖЕЛАНИЕ.** Беспокойство, испытываемое человеком при отсутствии вещи, владение которой вызывает идею наслаждения, мы называем желанием, которое бывает больше или меньше в зависимости от того, является ли это беспокойство более или менее сильным. Здесь, быть может, бесполезно будет заметить, между прочим, что беспокойство является главным, если не единственным побуждением человека к труду и действию. В самом деле: какое бы благо ни предлагалось, если его отсутствие не вызывает неприятности и страдания, если человек чувствует себя без него спокойным и довольным, то нет никакого желания блага, никакого стремления приобрести его, нет ничего, кроме простого слабого **хотения** – это слово обозначает самую низкую степень желания, граничащую с полным его отсутствием, когда беспокойство от отсутствия вещи настолько слабо, что человек не испытывает ничего, кроме слабого желания вещи, и не прибегает к действительному или энергичному применению средств к ее достижению. Желание так же кончается или ослабляется мыслью о невозможности или недостижимости предполагаемого блага, поскольку из-за этого соображения беспокойство пропадает или утихает. Мы могли бы вести наши рассуждения дальше, если бы это было здесь уместно.

7. **РАДОСТЬ.** Радость есть наслаждение ума от рассмотрения им настоящего или несомненно приближающегося обладания благом, а владеем благом мы тогда, когда оно находится в нашей власти, так что мы можем пользоваться им, когда нам угодно. Так, человек, близкий к голодной смерти, радуется приходу помощи даже от того, как он испытывает удовольствие от пользования ею, отец, которому доставляет наслаждение само благополучие его детей, обладает этим благом все время, пока его дети находятся в таком положении, ибо ему нужно только подумать об этом, чтобы иметь это удовольствие.

8. **ПЕЧАЛЬ.** Печаль есть беспокойство души при мысли о потерянном благе, которым можно было бы пользоваться дольше, или же чувство зла, имеющегося в настоящий момент.

9. **НАДЕЖДА.** Надежда есть удовольствие души, которое испытывает каждый при мысли о вероятном будущем обладании вещью, которая может доставить наслаждение.

10. **СТРАХ.** Страх есть беспокойство души при мысли о будущем зле, которое, вероятно, на нас обрушится.

11. **ОТЧАЯНИЕ.** Отчаяние есть мысль о недостижимости какого-нибудь блага, которая действует на ум людей различным образом, порождая иногда беспокойство или страдание, иногда спокойствие и безразличие.

12. **ГНЕВ.** Гнев есть беспокойство или волнение души при получении какого-нибудь оскорбления; ему сопутствует намерение немедленно отомстить.

13. **ЗАВИСТЬ.** Зависть есть беспокойство души, вызванное сознанием того, что желательным нам благом завладел другой, который, по нашему мнению, не должен обладать им раньше нас.

14. **КАКИЕ СТРАСТИ ЕСТЬ У ВСЕХ ЛЮДЕЙ?** Последние две страсти, зависть и гнев, не возбуждаются просто самим удовольствием и страданием, но к ним примешиваются размышления о нас самих и о других. Они бывают поэтому не у всех людей, потому что некоторым не достает составных частей этих страстей – убеждения в ценности своих достоинств или намерения отомстить. Но все остальные страсти, находящиеся только в пределах удовольствия и страдания, на мой взгляд, должны быть у всех людей, ибо мы любим, желаем, радуемся и надеемся только в отношении удовольствия; мы ненавидим, боимся и горюем в конечном итоге только в отношении страдания. В конце концов все эти страсти возбуждаются вещами, лишь поскольку те кажутся нам причинами удовольствия и страдания или так или иначе внешне связаны с удовольствием и страданием. Так, мы распространяем обыкновенно свою ненависть на тот объект (по крайней мере если он действует сознательно или произвольно), который причинил нам страдание, потому что внушенный им страх есть постоянное страдание. Но мы не столь постоянно любим то, что принесло нам добро, потому что удовольствие действует на нас не так сильно, как страдание, и потому что мы не очень расположены надеяться, что оно снова принесет нам добро. Но это между прочим.

15. **ЧТО ТАКОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И СТРАДАНИЕ?** Под удовольствием и страданием, наслаждением и беспокойством я постоянно разумею (как я сказал выше) не только телесное страдание и удовольствие, но и всякое испытываемое нами наслаждение или беспокойство, которое вытекает из любого приятного или неприятного ощущения или рефлексии.

16. Далее мы должны обратить внимание на то, что в отношении к страстям исчезновение или ослабление страдания рассматривается и действует как удовольствие, а лишение или уменьшение удовольствия – как страдание.

17. СТЫД. Большинство страстей у большинства людей воздействуют также на тело и вызывают в нем различные перемены, которые, будучи не всегда ощутимы, не составляют необходимой части в идее каждой страсти. Так, не всегда краснеют, когда испытывают стыд, представляющий собой беспокойство ума при мысли о том, что совершено нечто неприличное или такое, что уменьшит уважение к нам со стороны других.

18. ЭТИ ПРИМЕРЫ ПОКАЗЫВАЮТ, КАК НАШИ ИДЕИ СТРАСТЕЙ ПРИОБРЕТАЮТСЯ ОТЩУЩЕНИЯ И РЕФЛЕКСИИ. Я не ошибусь /полагая,/ что то /что я пишу,/ считают исследованием о страстях. Но страстей гораздо больше, чем я назвал здесь, да и каждая из тех, на которые я обратил внимание, требует гораздо более подробного и тщательного исследования. Я упомянул здесь о них только как о примерах модусов удовольствия и страдания, получающихся в нашем уме в результате различного рассмотрения добра и зла. Быть может, я мог бы привести в пример более простые модусы удовольствия и страдания, например страдание от голода и жажды и удовольствие от еды и питья для устранения голода и жажды, страдание от слабого зрения и удовольствие от музыки; страдание от двусмысленного и малопоучительного спора и удовольствие от разумной беседы с другом или от занятия, направленного на поиск и открытие истины. Но так как страсти для нас гораздо важнее, то я предпочел привести в пример именно их и показать, как наши идеи страстей происходят от ощущения и рефлексии.

Локк Д. Сочинения в 3-х томах. Т. I. М., 1985. С. 280-284.

**Дэвид ЮМ
(1711-1776)**

О бессмертии души

Трудно, по-видимому, доказать бессмертие души с помощью одного лишь света разума; аргументы для этого обычно заимствуют из положений метафизики, морали и физики. Но на деле Евангелие, и только оно одно, проливает свет на жизнь и бессмертие.

I. Метафизические доводы предполагают, что душа нематериальна и невозможно, чтобы мышление принадлежало материальной субстанции. Но истинная метафизика учит нас, что представление о субстанции полностью смутно и несовершенно и что мы не имеем другой идеи субстанции, кроме идеи агрегата отдельных свойств, присущих неведомому

нечто. Поэтому материя и дух в сущности своей равно неизвестны, и мы не можем определить, какие свойства присущи той или другому.

Указанная метафизика равным образом учит нас тому, что нельзя ничего решить относительно какой-либо причины или действия; и поскольку опыт есть единственный источник наших суждений такого рода, то мы не в состоянии узнать из какого-либо другого принципа, может ли материя в силу своей структуры или устройства быть причиной мышления. Абстрактное рассуждение не в состоянии решить какого-либо вопроса, касающегося факта или существования.

Но, допуская, что духовная субстанция рассеяна по вселенной наподобие эфирного огня стоиков и что она есть единственный субстрат мышления, мы имеем основание заключить по аналогии, что природа пользуется ею таким же образом, как и другой субстанцией, материей. Она пользуется ею как своего рода тестом или глиной; видоизменяет ее в разнообразные формы и предметы; спустя некоторое время разрушает то, что образовала, и той же субстанции придает новую форму. Подобно тому, как одна и та же материальная субстанция может последовательно образовывать тела всех животных, так духовная субстанция может составлять их души. Их сознание, или та система мыслей, которую они образовали в течение жизни, может быть каждый раз разрушена смертью; и им безразлично, каким будет новое видоизменение. Самые решительные сторонники смертности души никогда не отрицали бессмертия ее субстанции; а что нематериальная субстанция, равно как и материальная, может лишиться памяти или сознания – это отчасти явствует из опыта, если душа нематериальна.

Если рассуждать, следуя обычному ходу природы, и не предполагать нового вмешательства Верховной Причины (которая раз навсегда должна быть исключена из философии), то, что неуничтожимо, не должно также иметь начала. Поэтому душа, если она бессмертна, существовала до нашего рождения; и если до прежнего существования нам нет никакого дела, то не будет и до последующего. Несомненно, что животные существуют, мыслят, любят, ненавидят, хотят и даже рассуждают, хотя и менее совершенным образом, чем люди. Значит, их души тоже нематериальны и бессмертны?

II. Рассмотрим теперь моральные аргументы, главным образом те, которые выводятся из справедливости бога, который, как предполагается, заинтересован в будущем наказании тех, кто порочен, и вознаграждении тех, кто добродетелен.

Но данные аргументы основаны на предположении, что бог обладает иными атрибутами, кроме тех, что он проявил в этой вселенной,

единственной, с которой мы знакомы. Из чего же заключаем мы о существовании таких атрибутов? Мы можем без всякого риска утверждать, что все, насколько нам известно, действительно совершенное богом есть наилучшее; но весьма рискованно утверждать, будто бог всегда должен делать то, что нам кажется наилучшим. Как часто обманывало бы нас подобное суждение относительно этого мира! Но если вообще какое-нибудь намерение природы поддается выяснению, то мы можем утверждать, что цели и намерения, связанные с созданием человека – насколько мы в силах судить об этом посредством естественного разума – ограничиваются посюсторонней жизнью. Как мало интересуется человек будущей жизнью в силу изначально присущего ему строения духа и аффектов! Можно ли сравнить по устойчивости или силе действия столь колеблющуюся идею с самым недостоверным убеждением относительно чего-либо из области фактов, встречающихся в повседневной жизни? Правда, в некоторых душах возникают смутные страхи относительно будущей жизни, но они быстро исчезли бы, если бы их искусственно не поощряли предписания и воспитание. А каково побуждение тех, кто поощряет их? Исключительно желание снискать средства к жизни, приобрести власть и богатство в этом мире. Само их усердие и рвение являются поэтому аргументами против них.

Какой жестокостью, несправедливостью, неправедностью со стороны природы было бы ограничить все наши интересы и все наше знание настоящей жизнью, если нас ждет другая область деятельности, несравненно более важная по значению? Следует ли приписывать этот варварский обман благодетельному и мудрому существу? Заметьте, с какой точной соразмерностью согласованы повсюду в природе задачи, которые надлежит выполнить, и выполняющие их силы. Если разум человека дает ему значительное превосходство над другими животными, то соответственно умножились и его потребности; все его время, все способности, энергия, мужество и страстность полностью заняты борьбой против зол, связанных с его нынешним положением, и часто – более того, почти всегда – оказываются слишком слабы для предназначенного им дела.

Быть может, еще ни одна пара башмаков не доведена до высочайшей степени совершенства, которой эта часть одежды способна достигнуть, и, однако, необходимо или по крайней мере очень полезно, чтобы между людьми были и политики, и моралисты, и даже некоторое количество геометров, поэтов и философов. Силы человека не более превышают его нужды, принимая в расчет только нынешнюю жизнь, чем силы лисиц и зайцев превышают их нужды применительно к продолжительности жизни. Заключение при равенстве оснований ясно само собой.

С точки зрения теории смертности души, более низкий уровень способностей у женщин легко объясним. Их ограниченная домом жизнь не требует более высоких способностей духа или тела. Это обстоятельство отпадает и теряет всякое значение при религиозной теории: и тому и другому полу предстоит выполнить равную задачу; силы их разума и воли также должны быть равными, и притом несравненно большими, чем теперь. Так как каждое действие предполагает причину, а эта причина – другую до тех пор, пока мы не достигнем первой причины всего, т.е. божества, то все происходящее установлено им и ничто не может быть предметом его кары или мести.

По какому правилу распределяются кары и вознаграждения? В чем божественное мерило заслуг и провинностей? Должны ли мы предполагать, что человеческие чувства свойственны божеству? Как ни смела эта гипотеза, но мы не имеем никакого представления о каких-либо иных чувствах. В соответствии с человеческими чувствами ум, мужество, хорошие манеры, прилежание, благоразумие, гениальность и т.д. суть существенные части личных достоинств. Должны ли мы поэтому создать Елисейские поля для поэтов и героев по примеру древней мифологии? Зачем приурочивать все награды только к одному виду добродетели? Наказание, не преследующее никакой цели или намерения, несовместимо с нашими идеями благости и справедливости, но оно не может служить никакой цели после того, как все придет к концу. Наказание, согласно нашему представлению, должно быть соразмерно с проступком. Почему же тогда назначается вечное наказание за временные проступки такого слабого создания как человек? Может ли кто-нибудь одобрить гнев Александра, который собирался истребить целый народ за то, что у него похитили любимую лошадь Букефала?

Небеса и ад предполагают два различных вида людей – добрых и злых; однако большая часть человечества колеблется между пороком и добродетелью. Если бы кто-нибудь задумал обойти мир с целью угостить добродетельных вкусным ужином, а дурных – крепким подзатыльником, то он часто затруднялся бы в своем выборе и пришел бы к выводу, что заслуги и проступки большинства мужчин и женщин едва ли стоят любого из этих двух воздеяний.

Предположение же мерила одобрения или порицания, отличного от человеческого, приводит к общей путанице. Откуда вообще мы узнали, что существует такая вещь, как моральное различие, если не из наших собственных чувств? Какой человек, не испытывавший личной обиды (а добрый от природы человек даже при предположении, что испытал ее), мог бы налагать за преступления даже обычные, законные, легкие кары

на основании одного только чувства порицания? И что закаляет грудь судей и присяжных против побуждений человеколюбия, как не мысль о необходимости и общественных интересах? По римскому закону виновных в отцеубийстве и сознавшихся в своем преступлении клали в мешок вместе с обезьяной, собакой и змеей и бросали в реку. Простая же смерть была наказанием тех, кто отрицал свою виновность, хотя бы и вполне доказанную. В присутствии Августина преступник был судим и осужден после полного изобличения, но человеколюбивый император, задавая последний вопрос, построил его так, чтобы привести несчастного к отрицанию своей вины. Ведь ты, конечно, сказал император, не убивал своего отца? Это милосердие его по отношению к величайшему из преступников соответствует нашим естественным идеям правосудия, хотя оно и предотвращает лишь столь незначительное страдание. Более того, даже самый фанатичный священник непосредственно, без колебаний одобрил бы такой образ действий, в том, конечно, случае, если преступление не заключалось в ереси или неверии: эти последние преступления затрагивают его временные интересы и выгоды, и он, пожалуй, не был бы к ним столь снисходителен.

Главным источником моральных идей является размышление об интересах человеческого общества. Неужели эти интересы, столь недолговечные и суетные, следует охранять посредством вечных и бесконечных наказаний? Вечное осуждение одного человека является бесконечно большим злом во вселенной, чем ниспровержение тысячи миллионов царств. Природа сделала детство человека особенно хилым и подверженным смерти, как бы имея в виду опровергнуть представление о том, что жизнь есть испытание. Половина человеческого рода умирает, не достигнув разумного возраста.

III. Физические аргументы, основанные на аналогии природы, ясно говорят в пользу смертности души, а они и есть, собственно, единственные философские аргументы, которые должны быть допущены в связи с данным вопросом, как и в связи со всяким вопросом, касающимся фактов. Где два предмета столь тесно связаны друг с другом, что все изменения, которые мы когда-либо видели в одном, сопровождаются соответственным изменением в другом, там мы должны по всем правилам аналогии заключить, что когда в первом произойдут еще большие изменения и он полностью распадется, то за этим последует и полный распад последнего. Сон, оказывающий весьма незначительное воздействие на тело, сопровождается временным угасанием души или по крайней мере большим затмением ее. Слабость тела в детстве вполне соответствует слабости духа; будучи оба в полной силе в

зрелом возрасте, они совместно расстраиваются при болезни и постепенно приходят в упадок в преклонных годах. Представляется неизбежным и следующий шаг – их общий распад при смерти. Последние симптомы, которые обнаруживают дух, суть расстройство, слабость, бесчувственность и отупение – предшественники его уничтожения. Дальнейшая деятельность тех же причин, усиливая те же действия, приводит дух к полному угасанию. Судя по обычной аналогии природы, существование какой-либо формы не может продолжаться, если перенести ее в условия жизни, весьма отличные от тех, в которых она находилась первоначально. Деревья погибают в воде, рыбы в воздухе, животные в земле. Даже столь незначительное различие, как различие в климате, часто бывает роковым. Какое же у нас основание воображать, что такое безмерное изменение, как то, которое претерпевает душа при распаде тела и всех его органов мышления и ощущения, может произойти без распада всего существа?

У души и тела все общее. Органы первой суть в то же время органов второго, поэтому существование первой должно зависеть от существования второго. Считают, что души животных смертны, а они обнаруживают столь близкое сходство с душами людей, что аналогия между ними дает твердую опору для аргументов. Тела людей и животных не более сходны между собой, чем их души, и, однако, никто не отвергает аргументов, почерпнутых из сравнительной анатомии. Метемпсихоз является поэтому единственной теорией подобного рода, заслуживающей внимания философии.

В мире нет ничего постоянного; каждая вещь, как бы устойчива она ни казалась, находится в беспрестанном течении и изменении; сам мир обнаруживает признаки бренности и распада. Поэтому противно всякой аналогии воображать, что только одна форма, по-видимому самая хрупкая из всех и подверженная к тому же величайшим нарушениям, бессмертна и неразрушима. Что за смелая теория! Как легкомысленно, чтобы не сказать безрассудно, она построена!

Немало затруднений религиозной теории должен причинить также вопрос о том, как распорядиться бесчисленным множеством посмертных существований. Каждую планету в каждой солнечной системе мы вправе вообразить населенной разумными смертными существами; по крайней мере мы не можем остановиться на ином предположении. В таком случае для каждого нового поколения таких существ следует создавать новую вселенную за пределами нынешней, или же с самого начала должна быть создана одна вселенная, но столь чудовищных размеров, чтобы она могла вместить этот неустанный приток существ. Мо-

гут ли такие смелые предположения быть приняты какой-нибудь философией, и притом на основании одной лишь простой возможности? Когда задают вопрос о том, находятся ли еще в живых Агамемнон, Терсит, Ганнибал, Варрон и всякие глупцы, которые когда-либо существовали в Италии, Скифии, Бактрии или Гвинее, то может ли кто-нибудь думать, будто изучение природы способно доставить нам достаточно сильные аргументы, чтобы утвердительно отвечать на столь странный вопрос? Если не принимать во внимание откровение, то окажется, что аргументов нет, и это в достаточной мере отрицательный ответ. Наша бесчувственность до того, как сформировалось наше тело, по-видимому, доказывает естественному разуму, что подобное же состояние наступит и после распада тела.

Если бы наш ужас перед уничтожением был изначальным аффектом, а не действием присущей нам вообще любви к счастью, то он скорее доказывал бы смертность души. Ведь поскольку природа не делает ничего напрасно, то она никогда не внушила бы нам ужаса перед невозможным событием. Она может внушить нам ужас перед неизбежным событием в том случае, когда – как это имеет место в данном случае – наши усилия часто могут отсрочить его на некоторое время. Смерть в конце концов неизбежна, однако человеческий род не сохранился бы, если бы природа не внушила нам отвращения к смерти. Ко всем учениям, которым потворствуют наши аффекты, следует относиться с подозрением, а надежды и страхи, которые дают начало данному учению, ясны как день.

Бесконечно более выгодно в каждом споре защищать отрицательный тезис. Если вопрос касается чего-либо выходящего за пределы хода природы, известного нам из обычного опыта, то это обстоятельство является по преимуществу, если не всегда, решающим. Посредством каких аргументов или аналогий можем мы доказать наличие такого состояния существования, которого никто никогда не видел и которое совершенно непохоже на то, что мы когда-либо видели? Кто будет настолько доверять какой-либо мнимой философии, чтобы на основании ее свидетельства допустить реальность такого чудесного мира? Для данной цели нужен какой-нибудь новый вид логики и какие-нибудь новые силы духа, чтобы сделать нас способными постигнуть эту логику. Ничто не могло бы более ясно показать, сколь бесконечно человечество обязано божественному откровению, чем тот факт, что, как мы находим, никакое иное средство не в силах удостоверить эту великую и важную истину.

Юм Д. Сочинения в 2-х томах. Т. 2. М. 1996. С. 689-697.

Блез ПАСКАЛЬ **(1623-1662)**

По самой своей натуре мы несчастны всегда и при всех обстоятельствах, ибо, когда желания рисуют нам идеал счастья, они сочетают наши нынешние обстоятельства с удовольствиями, нам сейчас недоступными. Но вот мы обрели эти удовольствия, а счастья не прибавилось, потому что изменились обстоятельства, а с ними – и наши желания...

Суть человеческого естества – в движении. Полный покой означает смерть...

Развлечение. – Человек с самого детства только и слышит, что он должен печься о собственном благополучии и добром имени этих друзей. Его обременяют занятиями, изучением языков, телесными упражнениями, неустанно внушая, что не быть ему счастливым, если он и его друзья не сумеют сохранить в должном порядке здоровье, доброе имя, имущество, и что малейшая нужда в чем-нибудь сделает его несчастным. И на него обрушивают столько дел и обязанностей, что от зари до зари он в суете и заботах. "Что за диковинный способ вести человека к счастью?", – скажете вы. – Вернейший, чтобы сделать его несчастным!" – Как, вернейший? Есть куда вернее: отнимите у него эти заботы, и он начнет думать, что он такое, откуда пришел, куда идет, – вот почему его необходимо с головой окунуть в дела, отвратив от мыслей. И потому же, придумав для него множество важных занятий, ему советуют каждый свободный час посвящать играм, забавам, не давать себе ни минуты передышки...

Как пусто человеческое сердце и сколько нечистот в этой пустоте!..

Человек, несомненно, сотворен для того, чтобы думать: в этом и главное его достоинство, и главное дело жизни, а главный долг в том, чтобы думать пристойно. И начать ему следует с размышлений о себе самом, о своем создателе и о своем конце.

Но о чем думают люди? Вовсе не об этом, а о том, чтобы поплясать, побрыцать на лютне, спеть песню, сочинить стихи, поиграть в кольцо и т.д., повоевать, добиться королевского престола, и ни на минуту не задумываться над тем, что это такое: быть королем, быть человеком...

Величие человека – в его способности мыслить.

Человек – всего лишь тростник, слабейшее из творений природы, но он – тростник мыслящий. Чтобы его уничтожить, вовсе не надо всей Вселенной: достаточно дуновения ветра, капли воды. Но пусть даже его

уничтожит Вселенная, человек все равно возвышеннее, чем она, ибо сознает, что расстается с жизнью и что слабее Вселенной, а она ничего не сознает.

Итак, все наше достоинство – в способности мыслить. Только мысль возносит нас, а не пространство и время, в которых мы – ничто. Постараемся же мыслить достойно: в этом – основа нравственности...

Славолюбие – самое низменное свойство человека и вместе с тем самое неоспоримое доказательство его высокого достоинства, ибо, даже владея обширными землями, крепким здоровьем, всем насущным, он не знает довольства, если не окружен уважением ближних. Превыше всего он ценит людской разум, и даже почтеннейшее положение не радует его, если этот разум отказывает ему в почете. Почет – заветная цель человека, он будет всегда неодолимо стремиться к ней, и никакая сила не искоренит из его сердца желания ее достичь.

И даже если человек презирает себе подобных и приравнивает их к животным, все равно, вопреки самому себе, он будет добиваться всеобщего признания и восхищения: он не в силах противиться собственной натуре, которая твердит ему о величии человека более убедительно, чем разум – о низменности...

Величие человека. – Величие человека так несомненно, что подтверждается даже его ничтожеством. Ибо ничтожеством мы именуем в человеке то, что в животных считается естеством, тем самым подтверждая, что если теперь его натура мало чем отличается от животной, то некогда, пока он не пал, она была непорочна...

Человеческую натуру можно рассматривать двояко: исходя из конечной цели, и тогда человек возвышен и ни с чем не сравним, или исходя из обычных свойств, как рассматривают лошадь или собаку, исходя из их обычных свойств – способности к бегу, – и тогда человек низок и отвратителен. Вот два пути, которые привели к стольким разногласиям и философским спорам.

Потому что одни оспаривают других, утверждая: "Человек не рожден для этой цели, ибо все его поступки ей противоречат", – а те, в свою очередь, твердят: "Эти низменные поступки лишь удаляют его от конечной цели".

Опасное дело – убедить человека, что он во всем подобен животному, не показав одновременно и его величия. Не менее опасно убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее – не убедить в величии, умолчав о низменности. Еще опаснее – не раскрыть ему глаза на двойственность человеческой природы. Благотворно одно – рассказать ему о той его стороне, и о другой.

Человек не должен приравнять себя ни к животным, ни к ангелам, не должен и пребывать в неведении о двойственности своей натуры. Пусть знает, каков он в действительности.

Паскаль Б. Из «Мыслей» // Размышления и афоризмы французских моралистов XVI-XVIII веков. Л., 1987. С. 230, 233, 238, 266, 275-276, 278.

Бенедикт СПИНОЗА (1632-1677)

Богословско-политический трактат

Свобода

Если б повелевать умами было так же легко, как и языками, то каждый царствовал бы спокойно, и не было бы никакого насильственного правления, ибо каждый жил бы, сообразуясь с нравом правящих, и только на основании их решения судил бы о том, что истинно или ложно, хорошо или дурно, справедливо или несправедливо. Но не может статья, чтобы ум неограниченно находился во власти другого. Из этого, следовательно, выходит, что то правление считается насильственным, которое посягает на умы, и что верховная власть, очевидно, совершает несправедливость по отношению к подданным и узурпирует их право, когда хочет предписать каждому, что он должен принимать как истину или отвергать как ложь и какими мнениями, далее, ум каждого должен побуждаться к благоговению перед Богом; это ведь есть право каждого, которым никто, хотя бы он и желал этого, не может поступиться...

Итак, если никто не может поступиться своею свободою судить и мыслить о том, о чем он хочет, но каждый по величайшему праву природы есть господин своих мыслей, то отсюда следует, что в государстве никогда нельзя, не рискуя слишком плачевными последствиями, домогаться того, чтобы люди ничего не говорили иначе, как по предписанию верховных властей, ибо и самые опытные не умеют молчать. Это общий недостаток людей – доверять другим свои планы, хотя и нужно бы молчать; следовательно, то правительство будет самое насильническое, при котором отрицается свобода за каждым говорить то и учить тому, что он думает, и наоборот, то правительство будет самое умеренное, при котором эта свобода дается каждому...

Конечная цель заключается не в том, чтобы господствовать и держать людей в страхе, подчиняя их власти другого, но, наоборот, в том, чтобы каждого освободить от страха, дабы он жил в безопасности, насколько это возможно. Цель государства – не в том, чтобы превращать людей из разумных существ в животных или автоматы, но, напротив, в том, чтобы их душа и тело отправляли свои функции, не подвергаясь опасности, а сами они пользовались свободным разумом. Следовательно, цель государства в действительности есть свобода.

Нодар Джин. Откровения еврейского духа (Я есть кто я есть) Даблеей, 1984. С. 161.

Краткий трактат о боге, человеке и его счастье

О том, что вытекает из веры, и о добре, и зле у человека

Показав в предыдущей главе, как страсти происходят из ошибочных мнений, мы рассмотрим здесь действия двух других родов познания, а именно сначала того рода, который мы называли истинной верой.

Последняя, правда, показывает нам, чем должна быть вещь, а не то, что она есть на самом деле. Вот почему она никогда не может соединить нас с вещью, принятой на веру. Таким образом, я говорю, что она учит нас лишь тому, каковой вещь должна быть, а не какова она есть, а между тем и другим – большая разница. Ибо, как мы сказали в нашем примере тройного правила, если кто-либо может найти путем пропорции четвертое число, которое так относится к третьему, как второе к первому, что он может сказать (пользуясь делением и умножением), что эти четыре числа должны быть пропорциональны. Хотя это верно, но он говорит об этом, как о вещи, лежащей вне его. Но если он приступит к рассмотрению пропорциональности так, как мы объяснили в четвертом примере, то он будет говорить, что вещь такова на самом деле, потому что тогда она будет находиться в нем, а не вне его. Но довольно о первом.

Второе действие истинной веры в том, что ведет нас к истинному пониманию, через которое мы любим бога, и позволяет нам интеллектуально видеть вещи, находящиеся не в нас, а вне нас.

Третье действие то, что она дает нам познание о добре и зле и показывает нам все страсти, подлежащие уничтожению. А так как мы уже сказали, что страсти, происходящие из мнения, подвергают нас большому вреду, то стоит труда рассмотреть, как они просеиваются этим вторым познанием, чтобы видеть, что в них хорошо и что дурно.

Чтобы сделать это надлежащим образом, рассмотрим ближе, так же как раньше, чтобы узнать, какие из них должны быть избранны и какие отвергнуты. Но, прежде чем мы приступим к этому, скажем сначала кратко, что в человеке хорошо и что дурно.

Мы уже раньше сказали, что все вещи необходимы и что в природе нет ни добра, ни зла. Поэтому все, чего мы хотим от человека, должно иметь силу для его рода, который есть не что иное, как мысленная сущность (существо). Поэтому, поскольку мы в нашем уме составили идею о совершенном человеке, это может быть причиной, чтобы посмотреть (если мы исследуем самих себя), нет ли в нас какого-либо средства достигнуть такого совершенства.

Поэтому все, что способствует этому совершенству, мы будем называть хорошим, напротив, все, что нам препятствует или же не содействует этому мы будем называть дурным.

Итак, если я хочу сказать что-либо о добре и зле в человеке, то должен, говорю я, понять совершенного человека именно потому, что если бы я рассуждал о добре и зле отдельного человека, например, Адама, то мог бы смешать действительное существо с мысленным существом, чего истинный философ должен старательно избегать по причинам, которые мы укажем впоследствии, или по другим поводам. Далее, так как назначение Адама или иного существа известно нам лишь по его проявлению, то из этого следует, что и то, что мы можем сказать о назначении человека, должно быть основано на понятии совершенного человека, находящемся в нашем уме. Назначение это мы, конечно, можем знать, так как дело идет о мысленной сущности; точно так же мы можем знать его добро и зло, так как это лишь модусы мышления.

Чтобы постепенно подойти к делу, мы показали уже, как возникают из понятия движения аффекты и действия души, причем мы это понятие разделили на четыре: услышанное, опыт, веру и ясное познание. А так как мы рассмотрели действия их всех, то очевидно, что последнее, именно ясное познание есть самое совершенное из всех; ибо мнение часто вводит нас в заблуждение. Истинная вера хороша только потому, что она есть путь к истинному познанию, побуждая нас к вещам, действительно достойным любви. Таким образом, последняя цель, которую мы ищем, и самое предпочтительное, что нам известно, есть истинное познание. Но и это истинное познание также различно, смотря по объектам, которые представляются ему, так что, чем лучше объект, с которым оно соединяется, тем лучше это познание. Поэтому совершеннейший человек – тот, кто соединяется с богом (который есть всесовершеннейшее существо) и таким образом наслаждается им.

Чтобы узнать что хорошо и что дурно в страстях, мы рассмотрим, как сказано, каждую отдельно, и прежде всего удивление. Оно, возникая из незнания или предрассудка, представляет несовершенство в человеке, подверженном этому настроению. Я говорю несовершенство, так как удивление само по себе не ведет ни к чему дурному.

Спиноза Б. Избранные произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 117-120.

Готфрид Вильгельм ЛЕЙБНИЦ (1646-1716)

О мудрости

Мудрость – это совершенное знание принципов всех наук и искусство их применения. Принципами я называю все фундаментальные истины, достаточные для того, чтобы в случае необходимости получить из них все заключения, после того как мы с ними немного поупражнялись и некоторое время их применяли. Словом, все то, что служит руководством для духа в его стремлении контролировать нравы, достойно существовать всюду (даже если ты находишься среди варваров), сохранять здоровье, совершенствоваться во всех необходимых тебе вещах, чтобы в итоге добиться приятной жизни, искусство применять эти принципы к обстоятельствам включает искусство хорошо судить или рассуждать, искусство открывать новые истины и, наконец, искусство припоминать уже известное своевременно и когда это нужно.

Искусство хорошо рассуждать состоит в следующих максимах.

(1) Истинным следует всегда признавать лишь столь очевидное, в чем невозможно было бы найти ничего, что давало бы какой-либо повод для сомнения. Вот почему хорошо в начале таких изысканий вообразить себе, что ты заинтересован придерживаться обратного, ибо такой прием смог бы побудить тебя найти нечто основательное для обнаружения его несостоятельности; ведь надо избегать предрассудков и не приписывать вещам того, что они в себе не содержат. Но никогда не следует и упорствовать.

(2) Если нет возможности достичь такой уверенности, приходится довольствоваться вероятностью в ожидании большей осведомленности. Однако следует различать степени вероятности и следует помнить о том, что на всем, что нами выводится из лишь вероятного принципа, лежит отпечаток несовершенства его источника, в особенности когда

приходится предполагать несколько вероятностей, чтобы прийти к заключению: ведь оно становится еще менее достоверным, чем любая вероятность для него основной.

(3) Для того чтобы выводить одну истину из другой, следует сохранять их некое неразрывное сцепление. Ибо как нельзя быть уверенным, что цепь выдержит, если нет уверенности, что каждое звено сделано из добротного материала, что оно обхватывает оба соседних звена, если неизвестно, что этому звену предшествует и что за ним следует, что так же нельзя быть уверенным в правильности умозаключения, если оно не доботно по материалу, т.е. содержит в себе нечто сомнительное, и если его форма не представляет собой непрерывную связь истин, не оставляющую никаких пустот. Например, А есть В, В есть С, С есть Д, следовательно А есть Д. Такое сцепление учит нас также иногда не вставлять в заключение больше того, что имеется в посылках.

Искусство открытия состоит в следующих максимах.

(1) Чтобы познать какую-либо вещь, нужно рассмотреть все её реквизиты, т.е. все, что достаточно для того, чтобы отличить эту вещь от всякой другой. И это есть то, что называется "определением", "природой", "взаимообратимым свойством".

(2) Раз найдя способ, как отличить одну вещь от другой, следует применить то же первое правило для рассмотрения каждого из условий, или реквизитов, которые входят в этот способ, а также ко всем реквизитам каждого из этих реквизитов. Это и есть то, что я называю истинным анализом или разделением трудности на несколько частей. Ибо хотя уже и говорили о том, что следует разделять трудности на несколько частей, но еще не научили искусству, как это делать, и не обратили внимания на то, что имеются разделения, которые более затемняют, чем разъясняют.

(3) Когда анализ доведен до конца, т.е. когда рассмотрены реквизиты, входящие в рассмотрение некоторых вещей, которые, будучи постигаемы сами по себе, не имеют реквизитов и не нуждаются для своего понимания ни в чем, кроме них самих, тогда достигается совершенное познание данной вещи.

(4) Когда вещь того заслуживает, следует стремиться к такому совершенному ее познанию, чтобы оно все сразу присутствовало в духе; и достигается это путем неоднократного повторения анализа, который следует проделывать до тех пор, пока нам не покажется, что мы видим вещь всю целиком одним духовным взором. А для достижения такого эффекта следует в повторении анализа соблюдать определенную последовательность.

(5) Признаком совершенного знания будет, если в вещи, о которой идет речь, не останется ничего, чему нельзя было бы дать объяснения, и если с ней не может случиться ничего такого, чего нельзя было бы предсказать заранее.

(5) Очень трудно доводить до конца анализ вещей, но не столь трудно завершить анализ истин, в которых нуждаются. Ибо анализ истины завершен, когда найдено ее доказательство, и не всегда необходимо завершать анализ субъекта или предиката для того, чтобы найти доказательство предложения. Чаще всего уже начала анализа вещи достаточно для анализа, или для совершенного познания истины, относящейся к этой вещи.

(6) Нужно всегда начинать исследования с вещей наиболее легких, каковыми являются вещи наиболее общие и наиболее простые, т.е. такие, с которыми легко производить опыты, находя в этих опытах их основание, как-то: числа, линии, движения.

(7) Следует всегда придерживаясь порядка, восходя от вещей более легких к вещам более трудным, и следует пытаться найти такое продвижение вперед в порядке наших размышлений, чтобы сама природа стала здесь нашим проводником и поручителем.

(8) Нужно стараться ничего не упускать во всех наших распределениях и перечислениях. А для этого очень хороши дихотомии с противоположными членами.

(9) Результатом нескольких анализов различных отдельных предметов будет каталог простых или близких к простым мыслей.

(10) Располагая таким каталогом простых мыслей, можно снова проделать все *a priori* и объяснить происхождение вещей, беря за основу некий совершенный порядок и некую связь или абсолютно законченный синтез. И это все, что способна делать наша душа в том состоянии, в котором она ныне находится.

Искусство применять то, что мы знаем, своевременно и когда это нужно, состоит в следующих правилах.

(1) Следует приучиться всегда сохранять присутствие духа; это значит быть в состоянии размышлять в суматохе, в любых обстоятельствах, в опасности так же хорошо, как в своем кабинете. Так что надо не теряться в любых ситуациях, даже искать их, соблюдая, однако, известную осторожность, чтобы не нанести себе нечаянно непоправимый вред. Предварительно хорошо поупражняться в таких делах, где опасность лишь воображаема или же незначительна, как-то: игры, совещания, беседы, физические упражнения и комедии.

(2) Следует приучиться к перечислениям. Вот почему хорошо заранее в этом поупражняться, приводя все возможные случаи, относящиеся к вопросу, о котором идет речь, как-то: все виды одного рода, все удобства и неудобства какого-либо средства, все возможные средства, ведущие к некой цели.

(3) Следует приучиться к различениям: зная две или несколько данных вещей, очень похожих, научиться сразу же находить их различия.

(4) Следует приучиться к аналогиям: зная две или несколько данных вещей, очень различных, научиться сразу же находить их сходства.

(5) Нужно уметь сразу же указывать вещи очень похожие на данную вещь или очень от нее отличные. Например, когда кто-нибудь опровергает высказанную мною некоторую общую максиму, хорошо, если я могу сразу же привести примеры. И когда кто-то другой выдвигает против меня некие максимы, хорошо, если я сразу могу противопоставить ему какой-нибудь пример. Когда же мне рассказывают какую-либо историю, хорошо, если я тут же могу сообщить похожую.

(6) Когда мы имеем истины или знания, в которых есть естественная связь субъекта с его предикатом нам известна, как это случается в вещах фактических и в истинах, добытых опытным путем, например, если речь идет о специфических свойствах целебных трав, об истории - естественной, гражданской, церковной, о географии, об обычаях, законах, канонах, о языках, приходится для их запоминания прибегать к особым искусственным приемам. И я не вижу ничего более подходящего для удержания их в памяти, чем шуточные стихотворения, иногда рисунки, а также вымышленные гипотезы для их объяснения, подобные тем, которые приводятся для вещей естественных, как, например, подходящая этимология, правильная или ложная, для языков, или же *Regula mundi*, если представлять себе этот закон как определенный порядок providения в истории.

(7) Наконец, хорошо составить инвентарный список наиболее полезных знаний, снабдив его реестром или алфавитным указателем. И в заключение, исходя из него, создавать карманный учебник, в который вошло бы все самое необходимое и самое распространенное.

Лейбниц Г. В. Сочинения: В 4 т. М., 1984. Т. 3. С. 97-100.

5. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ XVIII ВЕКА

Проблема человека получила дальнейшее осмысление в учениях английских философов XVIII века: Д. Локка (1632-1704), Д. Беркли (1685-1753), Д. Юма (1711-1776). Высшей задачей они считали совершенствование человека и его жизни. Так, взгляды на общество и человека Д. Юма изложены им в очерках "О партиях Великобритании", "О коалиции партий", "О первоначальном договоре" и др. В них он рассматривает этапы становления государства, где отцовская власть – прообраз государственной власти. В целом же социологические взгляды Юма носят буржуазный характер.

Новый этап в развитии философской мысли – французские материалисты XVIII столетия: Ламетри (1709-1751), Дидро (1713-1784), Руссо (1712-1778), Гольбах (1723-1789), Гельвеций (1712-1778) и другие. Совокупность идеологических, в том числе и философских учений этого времени, имеющих антифеодальный характер, получила название Просвещение. Основными чертами ее были – убежденность в решающей роли просвещения и значении его в социальном развитии, миф "мудрого законодателя", специфический рационализм, суть которого выражена в формуле "законы природы суть законы разума", их натуралистическая ориентация, критическая направленность, "политический" характер философии, утверждение "естественного идеала", реализация которого утвердила бы в жизни "царство разума", материализм и гуманизм.

Задание.

1. *Определите основную идею понятий: агностицизм, метафизический материализм, субъективный идеализм, сциентизм, рационализм.*
2. *Как рассматривает проблему неравенства в человеческом роде Руссо? Каковы способности индивидуума к совершенствованию?*

3. Поясните мысль Гельвеция о том, что «любовь людей к своим ближним есть результат необходимости помогать друг другу и бесконечного множества потребностей, зависящих от той же физической чувствительности, которую я считаю первоначальным источником наших поступков, наших добродетелей»?

4. Поясните, как раскрывают сущность человека слова Дидро: «Существует только одна добродетель – справедливость, одна обязанность – стать счастливым, один вывод – не преувеличивать ценности жизни и не бояться смерти».

5. Как характеризуют Ламетри слова: «Человеческое тело – это заводящая сама себя машина, живое олицетворение непрерывного движения»?

Жан-Жак РУССО (1712-1778)

Я замечаю двоякое неравенство в человеческом роде: одно, которое я назову естественным или физическим, так как оно установлено природой, состоит в различии возраста, здоровья, телесных сил и умственных или душевных качеств. Другое же может быть названо нравственным или политическим, так как оно зависит от своего рода договора и установлено или по крайней мере стало правомерным с согласия людей. Оно состоит в различных привилегиях, которыми они – пользуются к ущербу других, в том, например, что одни более богаты, уважаемы и могущественны, чем другие, или даже заставляют их повиноваться себе...

Способность к совершенствованию, которая при содействии различных обстоятельств ведет к постепенному развитию всех остальных способностей. Она также присуща всему нашему роду, как и каждому индивидууму, тогда как животное по истечении нескольких месяцев будет тем, чем останется оно всю свою жизнь, а его вид через тысячу лет тем же, чем был в первом году этого тысячелетия.

/.../ Печально было бы, если бы пришлось признать, что эта своеобразная и почти безграничная способность является источником почти всех человеческих несчастий, что она, в союзе с временем, выводит в конце концов человека из того первобытного состояния, в котором он вел спокойную и невинную жизнь, что она, способствуя в течение целого ряда веков расцвету его знаний и заблуждений, пороков и добродетелей, заставляет его сделаться тираном над самим собой и природой...

У всех народов мира умственное развитие находится в соответствии с теми потребностями, которые породила в них природа или заставили приобрести обстоятельства, и, следовательно; с теми страстями, которые побуждают их заботиться об удовлетворении этих, потребностей.

/.../ Я отметил бы то обстоятельство, что северные народы опережают южные в области промышленности, так как им труднее без нее обойтись, и что, следовательно, природа, как бы стремясь установить известное равенство, наделила умы продуктивностью, в которой отказала почве. Но если даже мы и не станем прибегать к малонадежным свидетельствам истории, разве не ясно для всякого что все как бы намеренно удаляет от дикаря искушения и средства выйти из того состояния, в котором он находится. Его воображение ничего ему не рисует, его сердце ничего не требует. Все, что нужно для удовлетворения его скромных потребностей, у него под рукой, он настолько далек от уровня знаний, обладать которыми необходимо, чтобы пожелать приобрести еще большие, что у него не может быть ни предусмотрительности, ни любознательности...

Не имея никакого нравственного общения между собой, не признавая за собой никаких обязанностей по отношению к себе подобным, люди не могли быть, по-видимому, в этом состоянии ни хорошими, ни дурными и не имели ни пороков, ни добродетелей, если только мы не будем, понимая эти слова в физическом смысле, называть пороками в индивидууме те качества, которые могут препятствовать его самосохранению, и добродетелями те, которые могут ему способствовать; но в таком случае наиболее добродетельным пришлось бы назвать того, кто менее других противится внушениям природы.

После того как я доказал, что неравенство едва заметно в естественном состоянии и его влияние там почти ничтожно, мне остается показать, как возникает оно и растет в связи с последовательным развитием человеческого ума. После того как я доказал, что способность к совершенствованию, общественные добродетели и прочие духовные свойства, которыми наделен был человек в естественном состоянии, не могли развиваться сами собой, что они нуждались для этого в содействии множества внешних причин, которые могли и вовсе не возникнуть и без которых он навсегда остался бы в первобытном состоянии, мне предстоит дать обзор и выяснить значение различных случайностей, которые могли способствовать совершенствованию человеческого разума, способствуя в то же время вырождению человечества, которые могли сделать человека существом злым, сделав его существом общезлительным, и дойти до эпохи бесконечно далекой от той поры, когда человек и Вселенная стали такими, какими мы их видим...

Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, сказать: "Это моё" – и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн, убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: "Не слушайте лучше этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля – никому!" Но весьма вероятно, что дела, не могли уже тогда оставаться дольше в том положении, в каком они находились. Идея собственности, зависящая от многих идей предшествующих, которые могли возникнуть лишь постепенно, не внезапно сложилась в уме человека. Нужно было далеко уйти по пути прогресса, приобрести множество технических навыков и знаний, передавать и умножать их из века в век, чтобы приблизиться к этому последнему пределу естественного состояния. Я проношусь стрелой через длинную вереницу веков, так как время идет: рассказать мне нужно о многом, а движение прогресса вначале почти что неумовимо, и чем медленнее следовали друг за другом события, тем скорее можно описать их. Первые завоевания человека открыли ему, наконец, возможность делать успехи более острыми. Чем больше просвещается ум, тем больше развивалась промышленность. Люди не располагались уже на ночлег под первым попавшимся деревом и не прятались в пещерах. У них появились нечто вроде топоров. С помощью твердых и острых камней они рубили деревья, копали землю и строили из древесных ветвей хижины, которые научились впоследствии обмазывать глиной или грязью. Это была эпоха первого переворота. Образовались и обособились семьи; появились зачатки собственности, а вместе с этим уже возникли, быть может, столкновения и раздоры...

Пока люди довольствовались сельскими хижинами, шили себе одежды из звериных шкур с помощью древесных колочек или рыбьих костей, украшали себя перьями или раковинами, разрисовывали свое тело в различные цвета, улучшали или делали более красивыми свои луки и стрелы, выдалбливали острыми камнями немудрящие рыбацьи лодки или выделывали с помощью тех же камней грубые музыкальные инструменты, словом, пока они выполняли лишь такие работы, которые были под силу одному, и разрабатывали лишь такие искусства, которые не требовали сотрудничества многих людей, они жили свободными, здоровыми, добрыми и счастливыми, насколько могли быть таковыми по своей природе, и продолжали наслаждаться всей прелестью независимых отношений. Но с той минуты, как человек стал нуждаться в помощи другого, с той минуты, как люди заметили, что одному полезно

иметь запас пищи, достаточный для двух, равенство исчезло, возникла собственность, стал неизбежен труд и обширные леса превратились в веселые нивы, которые нужно было поливать человеческим потом, и на которых скоро вззошли и расцвели вместе с посевами рабство и нищета.

Великий переворот этот произвел изобретение двух искусств: обработки металлов и земледелие. В глазах поэта – золото и серебро, а в глазах философа – железо и хлеб цивилизовали людей и погубили род человеческий...

Все способности наши получили теперь полное развитие. Память и воображение напряженно работают, самолюбие всегда настороже, мышление стало деятельным, и ум почти достиг уже предела доступного ему совершенства. Все наши естественные способности исправно несут уже свою службу; положение и участь человека стали определяться не только на основании его богатства и той власти приносить пользу или вред другим, какой он располагает, но также на основании ума, красоты, силы или ловкости, заслуг или дарований, а так как только эти качества могли вызывать уважение, то нужно было иметь их или делать вид, что имеешь. Выгоднее было казаться не тем, чем был в действительности; быть и казаться – это для того времени уже вещи различные, и это различие вызвало появление ослепляющего высокомерия, обманчивой хитрости и пороков, составляющих их свиту. С другой стороны, из свободного и независимого, каким был человек первоначально, он превратился как бы в подвластного всей природе, особенно же ему подобным, рабом которых до некоторой степени он становится, даже становясь их господином. Если он богат, он нуждается в их услугах, если он беден, то нуждается в их помощи, и даже при среднем достатке он все равно не в состоянии обойтись без них. Он должен поэтому постоянно стараться заинтересовать их в своей судьбе, заставить их находить действительную или мнимую выгоду в том, чтобы содействовать его благополучию, а это делает его лукавым и изворотливым с одним, надменным и жестоким с другими и ставит его в необходимость обманывать тех, в ком он нуждается, если он не может заставить их себя бояться, и не находит выгодным у них заискивать. Ненасытное честолюбие, страсть увеличивать свое благосостояние, не столько ввиду истинных потребностей, сколько для того, чтобы стать выше других, внушает всем людям низкую склонность вредить друг другу и тайную зависть, тем более опасную, что, делая вернее нанести удар, она часто прикрывается личиной благожелательности. Словом, конкуренция и соперничество, с одной стороны, а с другой – противоположность интересов и скрытое желание обогатиться за счет другого – таковы

ближайшие последствия возникновения собственности, таковы неотлучные спутники нарождающегося неравенства.

Прежде чем изобретены были особые знаки, заменяющие всякие ценности, богатство могло состоять почти исключительно в землях и стадах скота, являвшихся единственными реальными благами, которыми могли владеть люди. Но когда поземельные владения, переходившие по наследству из рода в род, настолько увеличились в числе и размерах, что покрыли собою всю землю и соприкасались между собою, то одни из них могли возрастать уже только на счет других. Те люди, которые остались ни при чем, благодаря тому, что слабость или беспечность помешали им в свою очередь приобрести земельные участки, стали бедняками, ничего не потеряв, потому что не изменились, когда все изменилось вокруг них, и принуждены были получать пропитание из рук богатых или же похищать его у них. Отсюда возникли мало-помалу, в зависимости от различий в характере тех или других, господство и рабство или насилия и грабежи. Богатые же со своей стороны, едва ознакомившись с удовольствием властвовать, стали скоро презирать всех остальных и, пользуясь прежними рабами для подчинения новых, только и помышляли, что о порабощении и угнетении своих соседей, подобно прожорливым волкам, которые, раз отведав человеческого мяса, отвергают всякую другую пищу и желают пожирать только людей.

Таким образом, наиболее могущественные или наиболее бедствующие, основываясь на своей силе или своих нуждах, стали приписывать себе своего рода право на имущество другого, равносильное в их глазах праву собственности, и за уничтожением равенства последовали жесточайшие смуты. Захваты богатых, разбои бедных, разнузданные страсти и тех и других, заглушая естественное сострадание и слабый еще голос справедливости, сделали людей скупыми, честолюбивыми и злыми. Началась бесконечная борьба между правом сильного и правом первого завладевшего, приводившая к постоянным столкновениям и убийствам. Возникающее общество стало театром ожесточеннейшей войны. Погрязший в преступлениях и пороках и ввапший в отчаяние род человеческий не мог уже ни вернуться назад, ни отказаться от сделанных им злосчастных приобретений; употребляя во зло свои способности, которые могли служить лучшим его украшением, он готовил себе в грядущем только стыд и позор и сам привел себя на край гибели...

Если мы проследим за прогрессом неравенства в связи с этими различными переворотами, то увидим, что возникновение законов и права собственности было начальным пунктом этого прогресса, установление магистратуры – вторым, а третьим, и последним, – изменение правомер-

ной власти в основанную на произволе; так что различие между богатым и бедным было узаконено первой эпохой, различие между сильным и слабым – второй, а третьей – различие между господином и рабом. Это – последняя ступень неравенства, тот предел, к которому приводят все остальные, если только новые перевороты не уничтожат совершенно управления или не приблизят его к правомерному устройству...

Я попытался изложить историю происхождения и развития неравенства, возникновения политических обществ и злоупотреблений, которым открывают они место, насколько все это может быть выведено из природы человека, при свете одного только разума и независимо от священных догм, дающих верховной власти санкцию божественного права. Из изложения этого видно, что неравенство, почти ничтожное в естественном состоянии, усиливается и растет в зависимости от развития наших способностей и успехов человеческого ума и становится наконец прочным и правомерным благодаря возникновению собственности и законов. Из него следует далее, что нравственное неравенство, узаконенное одним только положительным правом, противно праву естественному, поскольку оно не совпадает с неравенством физическим. Это различие достаточно ясно показывает, что должны мы думать о том виде неравенства, которое царит среди всех цивилизованных народов, так как естественное право, как бы мы его ни определяли, очевидно, не может допустить, чтобы дитя властвовало над старцем, чтобы глупец руководил мудрецом и горсть людей утопала в роскоши, тогда как огромное большинство нуждается в самом необходимом...

Руссо Ж. Ж. О причинах неравенства // Антология мировой философии: В 4 т. М., 1970. Т. 2. С. 560-567.

Клод Адриан ГЕЛЬВЕЦИЙ (1715-1771)

Человек по своей природе и травоядное и плотоядное существо. При этом он слаб, плохо вооружен, и, следовательно, может стать жертвой прожорливости более сильных, чем он, животных. Поэтому, чтобы добыть себе пищу или спастись от ярости тигра и льва, человек должен был соединиться с другими людьми. Целью этого союза было нападение на животных и их умерщвление³ – либо для того, чтобы поесть их,

³ В Африке говорят, что существует особая порода диких собак, которые в силу того же побуждения отправляются сворой на войну с более сильными, чем они, животными.

либо для того, чтобы защищать от них плоды и овощи, служившие человеку пищей. Между тем люди размножились, и, чтобы прожить, им нужно было возделывать землю. Чтобы побудить земледельцев сеять, нужно было, чтобы им принадлежала жатва. Для этого граждане заключили между собой соглашения и создали законы. Эти законы закрепили узы, в основе которого лежали их потребности и который был непосредственным результатом физической чувствительности.⁴ Но нельзя рассматривать их общительность как врожденное качество⁵, как своего рода нравственную красоту? Опыт показывает нам по этому вопросу, что у человека, как и у животного, общительность есть результат потребности. Если потребность в самозащите собирает в стадо или общество травоядных животных, как быки, лошади и т.д., то потребность нападать, охотиться, воевать, драться со своей добычей соединяет также в общество таких плотоядных животных, как лисицы и волки.

Интерес и потребность – таков источник всякой общительности. Только одно это начало (отчетливые представления о котором встречаются лишь у немногих писателей) объединяет людей между собой. Поэтому сила их союза всегда соразмерна силе привычки и потребности. С того момента, когда молодой дикарь и молодой кабан в состоянии добывать себе пищу и защищаться, первый покидает хижину, второй – логово своих родителей.⁶

⁴ Из того, что человек общителен, сделали вывод, что он добр. Это – заблуждение. Волки живут обществом и не добры. Я прибавлю к этому даже, что если человек создал, как выражается Фонтенель, бога по своему образу и подобию, то нарисованный им ужасающий портрет божества должен вызвать сильные сомнения относительно доброты человека. Гоббс упрекают за следующие афоризмы: «Сильный ребенок есть злой ребенок». Между тем он повторил лишь в других словах следующие прославленные стихи Корнелия: Кто может сделать все, чего желает, –

Желает большего, чем должен, –
и следующий стих Лафонтена: Довод более сильного – всегда лучший.

Люди, рассматривающие человека как материал для романа, порицают этот афоризм Гоббса, но люди, пишущие историю человека, восхищаются этим афоризмом, и необходимостью законов доказывают всю его истинность.

⁵ Любопытство, которое иногда считают врожденной страстью, является у нас результатом желания быть счастливым и все более и более улучшать свое положение. Оно есть лишь дальнейшее развитие физической чувствительности.

⁶ В Европе самое обычное явление, что сыновья покидают своего отца, когда, став старым, слабым, неспособным к труду, он живет лишь милостыней. В деревнях можно наблюдать, что отец кормит семь или восемь детей, а семь или восемь детей не могут прокормить отца. Если не все сыновья так жестоки, если бывают нежные и человеческие дети, то своей человечностью они обязаны воспитанию и примеру; природа же сделала из них маленьких кабанов.

Орел перестает узнавать своих орлят с того момента, когда, сделавшись достаточно быстрыми в своем полете, чтобы молнией ринуться на свою добычу, они могут обойтись без его помощи.

Узы, связывающие детей с отцом или отца с детьми, менее сильны, чем думают. Будь эти узы слишком сильными – это было бы даже пагубно для государства. Первой страстью для гражданина должна быть любовь к законам и общественным благам. Говорю это с сожалением, но сыновняя любовь подчинена у человека любви к отечеству. Если это последнее чувство не превосходит всех прочих, то где найти критерий порока и добродетели? В этом случае такого критерия нет и всякая нравственность тем самым уничтожается.

Действительно, почему людям заповедали превыше всего любовь к богу или к справедливости? Потому, что смутно поняли опасность, которой подвергла их чрезмерная любовь к родным. Если узаконить эту чрезмерную любовь, если признать ее первым из всех чувств, то сын получит право ограбить своего соседа или обокрасть общественную казну для того, чтобы удовлетворить потребности отца или увеличить его благополучие. Сколько существует семейств, сколько было бы маленьких народов с противоположными интересами, которые всегда воевали бы друг с другом! Всякий писатель, который, желая внушить хорошее мнение о своем добросердечии, основывает общительность на ином принципе, а не на физических и привычных потребностях, обманывает недалёковидных людей и дает им ложное представление о нравственности.

Природа хотела, несомненно, чтобы признательность и привычка играли у человека своего рода роль тяготения, которое влекло бы его к любви к своим родителям; она хотела также, чтобы человек нашел в естественном стремлении к независимости силу отталкивания, которая уменьшала бы чрезмерную силу этого тяготения.⁷ Поэтому дочь радостно покидает дом матери, чтобы перейти в дом мужа. Поэтому сын с удовольствием покидает отцовский очаг, чтобы получить место в Индии, заняв должность в провинции или просто путешествовать.

Несмотря на мнимую силу чувства, дружбы и привычки, в Париже то и дело меняют квартиры, знакомых и друзей. Желая обмануть людей, преувеличивают силу чувства и дружбы, общительность рассматривают как любовь и как враждебное начало. Неужели можно искренне забыть,

⁷ Человек ненавидит зависимость. Отсюда может возникнуть ненависть к отцу, матери, и этим объясняется следующая пословица, основанная на повседневном наблюдении: любовь нисходит от родителей к детям, но не восходит от детей к родителям.

что существует только одно такое начало – физическая чувствительность?

Одному этому началу мы обязаны любовью к самим себе, и столь сильной любовью к независимости. Если бы между людьми, как это утверждают, имело место сильное взаимное притяжение, то разве заповедал бы им небесный законодатель любить друг друга, разве он поведал бы им любить своих родителей и матерей?⁸ Не предоставил ли бы он заботу об этом самой природе, которая без помощи какого бы то ни было закона заставляет человека есть и пить, когда он испытывает голод и жажду, открывать глаза по направлению к свету и беречь палец от огня?

Если судить по рассказам путешественников, то любовь человека к ближним не так обычна, как это уверяют. Мореплаватель, спасшийся при кораблекрушении и выброшенный на неизвестный берег, не бросается с распростертыми объятиями на шею первому встречному. Наоборот, он старается притаиться в каком-нибудь кустарнике. Отсюда он изучает нравы туземцев, и отсюда он выходит дрожа навстречу им.

Но, скажут, когда какой-нибудь европейский корабль пристанет к неизвестному острову, то разве дикари не сбегаются толпой к нему? Несомненно, их поражает его зрелище, дикарей удивляет новая для них одежда, наши украшения, наше оружие, наши орудия. Это зрелище вызывает их изумление. Но какое желание следует за этим первым чувством? Желание присвоить себе предметы их восхищения. Сделавшись менее веселыми и более задумчивыми, они измышляют способы отнять хитростью или силой эти предметы их желания. Для этого они подстерегают благоприятный момент, чтобы обокрасть, ограбить и перерезать европейцев, которые при завоевании ими Мексики и Перу уже ранее дали им образец подобных несправедливостей к жестокостей.

Из этой главы следует вывод, что принципы этики и политики должны, подобно принципам всех прочих наук, покоиться на многочисленных фактах и наблюдениях. Но что следует из производившихся до сих пор наблюдений над нравственностью? Что любовь людей к своим ближним есть результат необходимости помогать друг другу и бесконечного множества потребностей, зависящих от той же физической чувствительности, которую я считаю первоначальным источником наших поступков, наших пороков и нашей добродетели.

Гельвеций К. А. О человеке // Сочинения: В 2 Т. М., 1974. С. 93-97.

⁸ Заповедь любить своих отцов и матерей доказывает, что любовь к родителям есть скорее дело привычки и воспитания, чем природы.

**Дени ДИДРО
(1713-1784)**

Элементы физиологии

О человеке

Один довольно талантливый человек начал свою книгу следующими словами: «Человек, подобно всякому животному, состоит из двух различных субстанций – души и тела» Если кто-нибудь отрицает это положение» тс не для него написано все дальнейшее?

Я решил закрыть книгу. Ах, чудак, если только я допущу существование этих двух различных субстанций, то тебе нечему уже учить меня. Ведь ты не знаешь, что представляет собой та субстанция, которую ты называешь душой, еще меньше знаешь ты, как соединены обе субстанции, и точно так же, как они действуют друг на друга.

Действенность человека как животного и человека.

За клавишином сидит музыкант. Он беседует со своим соседом; заинтересованный разговором, он забывает, что играет в оркестре; но тем не менее его глаза, уши и пальцы находятся в полной гармонии между собой; инструмент не издает ни одной фальшивой ноты, ни одного фальшивого аккорда; не забыта ни одна пауза, не нарушен ни один такт. Беседа прекращается; наш музыкант возвращается к своей партитуре, мысли его путаются, он не знает, где он, собственно, находится; человек приведен в смятение, животное сбито с толку. Если бы рассеянность человека продолжалась еще несколько минут, то животное следовало бы за оркестром до конца, так что человек даже не догадался бы об этом.

Вот пример живых и чувствующих, находящихся в согласии друг с другом от природы или в силу привычки органов, которые работают совместно для одной и той же цели, без участия животного в целом.

О способности человека к совершенствованию.

Способность человека к совершенствованию происходит от слабости его чувств, из которых ни одно не господствует над органом разума.

Если бы у человека был нос собаки, то он всегда бы вынюхивал, если бы у него был глаз орла, то он не переставал бы высматривать, если бы у него было ухо крота, то это было бы вечно слушающее существо.

Глупость некоторых защитников учения о конечных причинах.

Они говорят: «Посмотрите на человека» и т.д.

О чем говорят они? О реальном человеке или идеальном?

Не может быть, чтобы о реальном человеке, ибо на всем земном шаре нет ни одного совершенно гармонически сложенного, совершенно здорового человека.

Следовательно, человечество — это скопище более или менее уродливых, более или менее больных индивидов.

Можно ли найти здесь повод для прославления им мнимого творца? Надо думать не о прославлении, а об апологии.

Но нет ни одного животного, ни одного растения, ни одного минерала, о котором я не мог бы сказать того же самого, что я говорю о человеке.

Если все, что существует в данное время, есть необходимое следствие своего прошлого состояния, то тут не о чем говорить. Если же из этого желают сделать чудо творения какого-то бесконечно мудрого и всемогущего существа, то в этом нет здравого смысла.

Чего же добиваются эти проповедники? Они прославляют провидение за то, чего оно вовсе не делало; они предполагают, что все хорошо, между тем как с точки зрения наших идей о совершенстве все плохо.

Должна ли машина быть совершенной, чтобы можно было на основании этого доказать существование создавшего ее мастера? Разумеется, если этот мастер совершенен.

Об абстрактном человеке и о человеке реальном.

Два философа спорят между собой и не могут прийти к соглашению; спорят, например, о свободе человека.

Один говорит: «Человек свободен, я это чувствую». Другой говорит: «Человек не свободен, я это чувствую».

Первый говорит об абстрактном человеке, о человеке, который не побуждаем никакими мотивами, о человеке, который существует лишь во сне или в мысли нашего диспута.

Другой говорит о реальном, действующем, занятом и побуждаемом различными мотивами человеке. Я рассмотрю и исследую экспериментальную историю этого последнего.

Это был геометр. Он просыпается, едва раскрыв глаза, он принимается за решение задачи, которой он занялся накануне вечером. Он надевает халат, сам не сознавая, что делает. Он садится за стол, берет линейку, циркуль, проводит линии, пишет уравнения, комбинирует, производит расчеты, не сознавая того, что делает. Часы бьют, он смотрит который час, и спешит написать несколько писем, которые нужно отправить с сегодняшней почтой. Написав письма, он одевается, выходит из дому и направляется обедать на Королевскую улицу у возвышенности Сен-Рош. На улице навалена груда камней; он пробирается между

ними и вдруг резко останавливается. Он вспоминает, что письма остались на столе незапечатанными и неотправленными. Он возвращается домой, зажигает свечку, запечатывает свои письма и относит их сам на почту; с почты он отправляется опять на Королевскую площадь, заходит в тот дом, где собирался обедать, и оказывается там в обществе своих друзей философов. Они заводят спор о свободе, и он неистово поддерживает тезис, что человек свободен. Я не мешаю ему говорить, но к концу дня увожу в уголок и прошу у него отчета обо всем сделанном им за день. И вот оказывается, что он не знает ничего – ровнешенько ничего – о том, что он сделал. И я убеждаюсь, что он является всего лишь простой пассивной машиной, орудием различных двигавших им мотивов, что он не только не был свободен, но не совершил даже ни одного поступка, который вытекал бы прямо из решения его воли. Он мыслил, чувствовал, но действовал не более свободно, чем какое-нибудь инертное тело, чем какой-нибудь деревянный автомат, который выполнил бы те же самые действия, что и он.

Противоположно действующая система.

Дело в том, что нет ничего более противоестественного, чем образ жизни ученого, с его постоянной привычкой к размышлению. Человек рожден для того, чтобы действовать; нормальное движение системы заключается не в том, чтобы постоянно устремляться от окончечностей к центру всего органического пучка, но, наоборот, в том, чтобы устремиться от центра к окончечностям. Все наши органы созданы не для того, чтобы пребывать в инертном состоянии, ибо тогда прекратились бы три основных процесса: сохранение, питание и размножение. Человек по природе создан, чтобы мыслить мало и действовать много; ученый, наоборот, мыслит много, а действует мало. Правильно было замечено, что в человеке имеется энергия, требующая для себя выхода, но выход, даваемый научными занятиями, не настоящий, ибо эти занятия заставляют человека сосредоточиваться и сопровождаются забвением всех животных функций.

Жизнь и смерть.

Пока не уничтожена основа жизни, самый жестокий холод не может заморозить жидкостей животного организма и не может даже заметно уменьшить его теплоту. Это последнее утверждение ложно; сравни действие холодов в России.

Без жизни нельзя ничего объяснять, а также без чувствительности и без живых и чувствительных нервов.

Без жизни нет никакого различия между живым человеком и его трупом.

Жизнь свойственна каждому органу.

По отделении от тела голова продолжает видеть, глядеть и жить.

Смерть.

Дитя бежит ей навстречу с закрытыми глазами; взрослый человек стоит на месте; старик идет к ней, повернувшись спиной. Дитя не видит конца своему существованию; взрослый человек притворяется, будто он сомневается в смерти; старец с трепетом убаюкивает себя надеждой, возобновляющейся изо дня в день. Невежливо и жестоко говорить при старике о смерти. Старость почитают, но не любят. Когда старик умирает, то это конец тягостным обязанностям по отношению к нему, и после его смерти скоро утешаются, хорошо еще, если тайком не радуются этому... Мне было шестьдесят лет, когда я стал говорить себе эти истины.

Медленный укол булавкой в мясо тела болезненнее, чем пистолетный выстрел в лоб.

Пуля разбивает вдребезги череп, разрывает мозговые оболочки, проходит мозговое вещество, но все это делается в мгновение ока. Молния и смерть соприкасаются между собой.

Заключение.

Мир – жилище сильного. Лишь в самом конце я узнаю, что я потерял или выиграл в этом огромном вертепе, где я провел шесть десятков лет с игральными костями в руке.

Что я наблюдаю? А еще что? Формы. Я не знаю сути вещей. Мы прогуливаемся среди теней, мы сами тени для других и для себя. Я вижу радугу среди туч; человек, который смотрит под другим углом, не видит ничего.

Живым довольно часто случается вообразить себя мертвыми, стоящими возле своих трупов и идущими за своей похоронной процессией. Это напоминает пловца, который смотрит на свою одежду, лежащую на берегу.

Люди, которые больше не боятся, что вы услышите в таком случае?

Философия, привычное и глубокое размышление, удаляющее нас от всего окружающего и превращающее нас в ничто, также есть обучение смерти.

Одно из прекраснейших изречений стоиков говорит, что страх смерти – это как бы узда, в которой держит нас сильный, ведя нас туда, куда ему угодно. Разорвите эту узду и обманите руку сильного. Существует только одна добродетель – справедливость, одна обязанность – стать счастливым, один вывод – не преувеличивать ценности жизни и не бояться смерти.

Дидро Д. Сочинения: В 2 т. М., 1986. Т.1. С. 483-489, 533.

Жюльен Офре де ЛАМЕТРИ (1709-1751)

Человек – машина

Человеческое тело – это заводящая сама себя машина, живое олицетворение непрерывного движения. Пища восстанавливает в нем то, что пожирается лихорадкой. Без пищи душа изнемогает, впадает в неистовство и наконец, изнуренная, умирает. Она напоминает тогда свечу, которая на минуту вспыхивает, прежде чем окончательно потухнуть. Но если питать тело и наполнять его сосуды живительными соками и подкрепляющими напитками, то душа становится бодрой, наполняется гордой отвагой и уподобляется солдату, которого ранее обращала в бегство вода, но который вдруг, оживая под звуки барабанного боя, бодро идет навстречу смерти. Точно таким же образом горячая вода волнует кровь, а холодная – успокаивает.

Как велика власть пищи! Она рождает радость в опечаленном сердце; эта радость проникает в душу собеседников, выражающих ее веселыми песнями, на которые особенные мастера французы. Только меланхолики остаются неизменно в подавленном состоянии, да и люди науки мало склонны к веселью.

Сырое мясо развивает у животных свирепость, у людей при подобной же пище развивалось бы это же качество; насколько это верно, можно судить по тому, что английская нация, которая ест мясо не столь прожаренным, как мы, но полусырым и кровавым, по-видимому, отличается в большей или меньшей степени жестокостью, проистекающей от пищи такого рода наряду с другими причинами, влияние которых может быть парализовано только воспитанием. Эта жестокость вызывает в душе надменность, ненависть и презрение к другим нациям, упрямство и другие чувства, портящие характер, подобно тому, как грубая пища создает тяжелый и неповоротливый ум, характерными свойствами которого являются лень и бесстрастность.

Попу хорошо была известна власть чревоугодия, когда он утверждал: «Суровый Кассий постоянно говорит о добродетели и думает, что тот, кто терпит порочных, сам порочен. Эти прекрасные чувства сохраняются у него только до обеда; когда же наступает час обеда, он предпочитает преступника, у которого изысканный стол, святому постнику».

«Возьмите, – говорит он дальше, – одного и того же человека в здоровом и больном состоянии, на хорошей должности или потерявшим ее; вы увидите, как он будет дорожить жизнью или презирать ее, Вы его

увидите безумным на охоте, пьяным на провинциальной вечеринке, вежливым на балу, добрым другом в городе, человеком без стыда и совести при дворе».

В Швейцарии я знал одного судью, по имени Штейгер де Виттихофен; натошак это был самый справедливый и даже самый снисходительный судья, но горе несчастному, оказавшемуся на скамье после сытного обеда судьи: последний способен бывал тогда повесить самого невинного человека.

Истинные философы согласятся со мной, что переход от животных к человеку не очень резок. Чем, в самом деле, был человек до изобретения слов и знания языков? Животным особого вида, у которого было меньше природного инстинкта, чем у других животных, царем, которым он себя тогда считал; он отличался от обезьяны и других животных тем, чем обезьяна отличается и в настоящее время, т.е. физиономией, свидетельствующей о большей понятливости. Ограничиваясь, по выражению последователей Лейбница, интуитивным знанием, он замечал только формы и цвета, не умея проводить между ними никаких различий; во всех возрастах сохраняя черты ребенка, он выражал свои ощущения и потребности так, как это делает проголодавшаяся или соскучившаяся от покоя собака, которая просит есть или гулять.

Слова, языки, науки, законы и искусства появились только постепенно; только с их помощью отшлифовался необделанный алмаз нашего ума. Человека дрессировали, как дрессируют животных: писателем становятся так же, как носильщиком. Геометр научился выполнять самые трудные чертежи и вычисления, подобно тому, как обезьяна научается снимать и надевать шапку или садится верхом на послушную ей собаку. Все достигалось при помощи знаков; каждый вид научался тому, чему мог научиться.

Таким именно путем люди приобрели то, что наши немецкие философы называют символическим познанием.

Как мы видим, нет ничего проще механики нашего воспитания, все сводится к звукам или словам, которые из уст одного через посредство ушей попадают в мозг другого, который одновременно с этим воспринимает глазами очертания тел, произвольными знаками которых являются эти слова.

Но кто заговорил впервые? Кто был первым наставником рода человеческого? Кто изобрел способ использовать понятливость нашего организма? Я не знаю этого: имена этих первых счастливых гениев скрыты в глубине времен. Но искусство является детищем природы: последняя должна была задолго предшествовать ему.

Надо предположить, что люди, которые наилучше организованы и на которых природа излила все свои благодеяния, научили всему этому других. Слыша какой-нибудь новый шум, испытывая новые ощущения или созерцая разнообразные и чудные предметы, составляющие восхитительное зрелище природы, они не могли не оказаться в положении Шартрского глухого, историю которого нам впервые поведал великий Фонтенель и который на сороковом году жизни впервые услышал поразивший его звон колоколов.

Поэтому разве нелепо было бы предположить, что эти первые смертные попытались, подобно вышеупомянутому глухому или подобно животным и немым (ибо последние представляют собой особый вид животных) выразить свои новые чувства движениями, отвечающими характеру их воображения, а затем уже произвольными звуками, свойственными всякому животному, — естественным выражением их удивления и радости, их порывов и потребностей. Ибо, без всякого сомнения, у тех, кого природа наделила более тонкими чувствами, имеется и большая возможность выражения последних.

Таким именно образом, по моему мнению, люди использовали свои чувства или свои инстинкты для развития ума, а этот последний — для приобретения знаний. Таким именно образом, как мне кажется, мозг наполнился представлениями, для восприятия которых его создала природа. Одно приходило на помощь другому, и по мере роста этих небольших зачатков все предметы Вселенной стали видны как на ладони.

Ламетри. Сочинения. М., 1976. С. 199-208.

6. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА

Немецкая классическая философия – важный этап в развитии философии. Она отразила все те прогрессивные изменения и противоречия, которые происходили в XVIII-XIX веках в науке и общественной жизни. Буржуазные революции, разрушение феодализма, становление капитализма – все эти процессы пытались осмыслить немецкие философы, но акцентировали внимание не на решении социальных вопросов, а на рассмотрении абстрактных философских проблем. Для немецкой классической философии характерно социально-компромиссное, непоследовательное, половинчатое мировоззрение. Здесь мы не увидим прямых выступлений против существовавших в Германии политических учреждений, в то же время их учения по существу были враждебны феодализму.

Важнейшим достижением немецкой классической философии является создание теории диалектики как логики и теории познания. В рамках этого философского движения, начатого И. Кантом (1724-1804), продолженного И. Г. Фихте (1762-1814) и Ф. Шеллингом (1775-1854) и завершенного Г. Гегелем (1770-1831) и Л. Фейербахом (1804-1872), между отдельными философами есть существенные различия и в то же время все они, за исключением материалиста Л. Фейербаха, образуют единую линию – идеализм и диалектику. Их объединяет ряд существенных принципов:

1. Они разработали целостную диалектическую концепцию, приложимую к исследованию всех областей человеческой жизни.
2. Все они очень высоко оценивали роль философии в развитии мировой культуры. Гегель подчеркивает: "Философия есть современная эпоха, постигнутая в мышлении".
3. Они мыслят философию как строгую систематическую науку, как "специальную систему идей и понятий".
4. При рассмотрении человека и истории все они исходят из принципа свободы, гуманистических ценностей. Так, Гегель изображает ис-

торию как закономерный процесс духовного развития, как прогресс в осознании свободы человеком.

Задание. Ответьте на вопросы, опираясь на предложенные в разделе тексты:

1. В чем суть кантовского категорического императива, который гласит: "Поступай так, чтобы максима твоей воли могла всегда стать и принципом всеобщего законодательства"?

2. Каковы основные проявления свободы человека по Канту? Личный эгоизм, произвол или, наоборот, самоограничение, уважение к свободе остальных?

3. Кому принадлежат слова: "Другой человек должен быть для тебя святым"?

4. Какой закон развития человечности сформулировал Кант, сказав "Человек, делай самого себя человеком, тем, что уважает в себе человек и уважает человека в другом"?

5. Оцените философскую позицию М. Фихте: "Человек является сам себе целью, должен определять сам себя и не позволять определять себя ничем внешним".

6. Прокомментируйте высказывание Г. Гегеля: "Человек не развился из животного, как и животное не развилось из растения, каждое существо есть сразу и целиком то, что оно есть".

7. Что считает Л. Фейербах определяющей силой поведения каждого человека и общества в целом?

8. Как понимает сущность человека Л. Фейербах?

9. Как Вы понимаете слова Л. Фейербаха: "Личность бога есть не что иное, как отделенная, объективированная личность человека"?

10. Кому принадлежат слова "Человек человеку – бог"?

Иммануил КАНТ (1724-1804)

Человек создан таким образом, что впечатления и возбуждения, вызываемые внешним миром, он воспринимает при посредстве тела - видимой части его существа, материя которого служит не только для того, чтобы запечатлеть в обитающей в нем невидимой душе первые понятия о внешних предметах, но и необходима для того, чтобы внутренней деятельностью воспроизводить и связывать эти понятия, короче говоря, для того, чтобы мыслить. По мере того как формируется тело

человека, достигают надлежащей степени совершенства и его мыслительные способности; они становятся вполне зрелыми только тогда, когда волокна его органов получают ту прочность и крепость, которые завершают их развитие. Довольно рано развиваются у человека те способности, при помощи которых он может удовлетворять потребности, вызываемые его зависимостью от внешних вещей. У некоторых людей развитие на этой ступени и останавливается. Способность связывать отвлеченные понятия и, свободно располагая своими познаниями, управлять своими страстями появляется поздно, а у некоторых так и вовсе не появляется в течение всей жизни; но у всех она слаба и служит низшим силам, над которыми она должна была бы господствовать и в управлении которыми заключается преимущество человеческой природы. Когда смотришь на жизнь большинства людей, то кажется, что человеческое существо создано для того, чтобы подобно растению впитывать в себя соки и расти, продолжать свой род, наконец, состариться и умереть. Из всех существ человек меньше всего достигает цели своего существования, потому что тратит свои превосходные способности на такие цели, которые остальные существа достигают с гораздо меньшими способностями и тем не менее гораздо надежнее и проще. И он был бы, во всяком случае с точки зрения истинной мудрости, презреннейшим из всех существ, если бы его не возвышала надежда на будущее и если бы заключенным в нем силам не предстояло полное развитие.

Если исследовать причину тех препятствий, которые удерживают человеческую природу на столь низкой ступени, то окажется, что она кроется в грубости материи, в которой заключена духовная его часть, в негибкости волокон, в косности и неподвижности соков, должествующих повиноваться импульсам этой духовной части. Нервы и жидкости мозга человека доставляют ему лишь грубые и неясные понятия, а так как возбуждению чувственных ощущений он не в состоянии противопоставить для равновесия внутри своей мыслительной способности достаточно сильные представления, то он и отдается во власть своих страстей, оглушенный и растревоженный игрой стихий, поддерживающих его тело. Попытки разума противодействовать этому, рассеять эту путаницу светом способности суждения подобны лучам солнца, когда густые облака неотступно прерывают и затемняют их яркий свет.

Эта грубость вещества и ткани в строении человеческой природы есть причина той косности, которая делает способности души постоянно вялыми и бессильными. Деятельность размышления и освещаемых

разумом представлений – утомительное состояние, в которое душа не может прийти без сопротивления и из которого естественные склонности человеческого тела вскоре вновь возвращают её в пассивное состояние, когда чувственные раздражения определяют всю ее деятельность и управляют ею.

Эта косность мыслительной способности, будучи результатом зависимости от грубой и негибкой материи, представляет собой источник не только пороков, но и заблуждений. Поскольку трудно рассеять туман смутных понятий и отделить общее познание, возникающее из сравнения идей, от чувственных впечатлений, душа охотнее приходит к поспешным выводам и удовлетворяется таким пониманием, которое вряд ли даст возможность увидеть со стороны косность и сопротивление материи.

Из-за этой зависимости духовные способности убывают вместе с живостью тела; когда в преклонном возрасте от ослабленного обращения соков в теле движутся только густые соки, когда уменьшается гибкость волокон и проворство движений, тогда подобным же образом истощаются и духовные силы; быстрота мысли, ясность представлений, живость ума и память становятся слабы и замирают. Долгим опытом приобретенные понятия в какой-то мере возмещают еще упадок этих сил, а разум обнаруживал бы свое бессилие еще явственнее, если бы пыл страстей, нуждающихся в его узде, не ослабевал вместе с ними и даже раньше, чем он.

Кант И. Всеобщая естественная история и теория неба. 1755 // Сочинения: В 6 т. М., 1963. С. 249-251.

Георг Вильгельм Фридрих ГЕГЕЛЬ (1770-1831)

Человек по своему непосредственному существованию есть сам по себе нечто природное, внешнее своему понятию; лишь через усовершенствование своего собственного тела и духа, главным же образом благодаря тому, что его самосознание постигает себя как свободное, он вступает во владение собою и становится собственностью самого себя и по отношению к другим. Это вступление во владение представляет собою, наоборот, также и осуществление, превращение в действительность того, что он есть по своему понятию (как возможность, способность, задаток), благодаря чему оно также только теперь полагается как то, что принадлежит ему, а также только теперь полагается как предмет

и различается от простого самосознания, благодаря чему оно делается способным получить форму вещи.

Примечание: Утверждение, что рабство (во всех его ближайших обоснованиях – физической силой, взятием в плен на войне, спасением и сохранением жизни, воспитанием, оказанными благодеяниями, собственным согласием раба и т.п.) правомерно, затем утверждение, что правомерно господство как исключительно только право господ вообще, а также и все исторические воззрения на правовой характер рабства и господского сословия основываются на точке зрения, которая берет человека как природное существо, берет его вообще со стороны такого существования (куда входит также и произвол), которое не адекватно его понятию. Напротив, утверждение об абсолютной неправоте рабства отстаивает понятие человека как духа, как в себе свободного и односторонне в том отношении, что принимает человека как свободного от природы или, что одно и то же, принимает за истинное – понятие как таковое, в его непосредственности, а не идею. Эта антиномия, как и всякая антиномия, покоится на формальном мышлении, которое фиксирует и утверждает оба момента идеи порознь, каждый сам по себе, и, следовательно, не соответственно идее и в его неистинности. Свободный дух в том-то и состоит, что он не есть одно лишь понятие или в себе, а снимает этот самому ему свойственный формализм, и, следовательно, свое непосредственное природное существование и дает себе существование лишь как свое, свободное существование. Та сторона антиномии, которая утверждает свободу, обладает поэтому тем преимуществом, что содержит в себе абсолютную исходную точку истины, но лишь – исходную точку; между тем как другая сторона, останавливающаяся на лишенном понятия существовании, ни в малейшей степени не содержит в себе точки зрения разумности и права. Стадия свободной воли, которой начинается право и наука о праве, уже пошла дальше неистинной стадии, в которой человек есть как природное существо и лишь как в себе сущее понятие и потому способен быть рабом. Это прежнее, неистинное явление касается лишь того духа, который еще находится в стадии своего сознания. Диалектика понятия и лишь непосредственного сознания свободы вызывает в нем борьбу за признание и отношение господства и рабства... А от понимания, в свою очередь, самого объективного духа, содержания права, лишь в его субъективном понятии и, значит, также и от понимания положения, гласящего, что человек в себе и для себя не предназначен для рабства как исключительно лишь долженствования, – от

этого нас предохраняет познание, что идея свободы истинна лишь как государство.

Прибавление. Если твердо придерживаться той стороны антиномии, согласно которой человек в себе и для себя свободен, то этим выносится осуждение рабству. Но то обстоятельство, что некто находится в рабстве, коренится в его собственной связи, точно так же как в воле самого народа коренится его угнетение, если оно имеет место. Рабство или угнетение суть, следовательно, неправо деяние не только тех, которые берут рабов, или тех, которые угнетают, а и самих рабов и угнетаемых. Рабство есть явление перехода от природности человека к его подлинно нравственному состоянию: оно явление мира, в котором неправда еще есть право. Здесь неправда имеет силу и занимает необходимое свое место...

Как представляющего собой живое существо, человека можно принудить, т.е. можно подчинить власти других его физическую и вообще внешнюю сторону, но свободная воля сама по себе не может быть принуждена; обратное может иметь место, лишь поскольку она сама не уходит из внешнего, к которому ее прикрепляют, или из представления о нем. Можно к чему-то принудить только того, кто хочет давать себя принудить.

Гегель. Философия права // Сочинения. М., Л., 1934. Т. 7. С. 81-83, 111.

Людвиг Адreas фон ФЕЙЕРБАХ (1804-1872)

В чем же заключается... существенное отличие человека от животного? Самый простой, самый общий и вместе с тем самый обычный ответ на этот вопрос: в сознании в строгом смысле этого слова; ибо в смысле самоощущения, в смысле способности чувственного различения, в смысле восприятия и даже распознавания внешних вещей по определенным явным признакам свойственно и животным. Сознание в самом строгом смысле имеется лишь там, где субъект способен понять свой род, свою сущность. Животное сознает себя как индивид, – почему оно и обладает самоощущением, – а не как род, так как ему недостает сознания, происходящего от слова «знание». Сознание нераздельно со способностью к науке. Наука – это сознание рода. В жизни мы имеем дело с индивидами, в науке – с родом. Только то существо, предметом

познания которого является его род, его сущность, может познавать сущность и природу других предметов и существ.

Поэтому животное живет единой, простой, а человек двоякой жизнью. Внутренняя жизнь животного совпадает с внешней, а человек живет внешней и особой внутренней жизнью. Внутренняя жизнь человека тесно связана с его родом, с его сущностью. Человек мыслит, то есть беседует, говорит с самим собой. Животное не может отправлять функций рода без другого индивида, а человек отправляет функции мышления и слова – ибо мышление и слово суть настоящие функции рода – без помощи другого. Человек одновременно и "Я" и "ты"; он может стать на место другого именно потому, что объектом его сознания служит не только его индивидуальность, но и его род, его сущность.

Сущность человека в отличие от животного составляет не только основу, но и предмет религии. Но религия есть сознание бесконечного, и поэтому человек сознает в ней свою не конечную и ограниченную, а бесконечную сущность. Доподлинно конечное существо не может иметь о бесконечном существе из малейшего представления, не говоря уже о сознании, потому что предел существа является одновременно пределом сознания. Сознание гусеницы, жизнь и сущность которой ограничивается известным растением, не выходит за пределы этой ограниченной сферы; она отличает это растение от других растений, и только. Такое ограниченное и именно, вследствие этой ограниченности, непогрешимое, безошибочное сознание мы называем не сознанием, а инстинктом. Сознание в строгом или собственном смысле слова и сознание бесконечного совпадают; ограниченное сознание не есть сознание; сознание по существу всеобъемлюще, бесконечно. Сознание бесконечного есть не что иное, как сознание бесконечности сознания. Иначе говоря, в сознании бесконечного сознание обращено на бесконечность собственного существа.

Но в чем же заключается сущность человека, создаваемая им? Каковы отличительные признаки истинно человеческого в человеке? Разум, воля и сердце⁹. Совершенней человек обладает силой мышления, силой воли и силой чувства. Сила мышления есть свет познания, сила воли – энергия характера, сила чувства – любовь. Разум, любовь и сила воли – это совершенства. В воле, мышлении и чувстве заключается

⁹ Бездушный материалист говорит: "Человек отличается от животного только сознанием; он – животное, которое обладает сознанием". Он не принимает, таким образом, во внимание, что в существе, в котором пробудилось сознание, происходит качественное изменение всей его сущности. Впрочем, этим несколько не умаляется достоинство животных. Здесь не место глубже исследовать этот вопрос.

высшая, абсолютная сущность человека, как такового и цель его существования. Человек существует, чтобы познавать, любить и хотеть. Но какова цель разума? – Разум. Любви? – Любовь. Воли? – Свобода воли. Мы познаем, чтобы познавать, любим, чтобы любить, хотим, чтобы хотеть, то есть быть свободными. Подлинное существо есть существо мыслящее, любящее, наделенное волей. Истинно совершенно, божественно только то, что существует ради себя самого. Таковы любовь, разум, воля. Божественная "троица" проявляется в человеке и даже над индивидуальным человеком в виде единства разума, любви и воли. Нельзя сказать, чтобы разум (воображение, фантазия, представление, мнение), воля и любовь были силами, принадлежащими человеку, так как он без них – ничто иное что он есть, только благодаря им.

Они составляют коренные элементы, обосновывающие его сущность, не являющуюся ни его непосредственным достоянием, ни продуктом. Это силы, оживотворяющие, господствующие, определяющие, это божественные, абсолютные силы, которым человек не может противостать...

Собственная сущность человека есть его абсолютная сущность, его бог; поэтому мощь объекта есть мощь его собственной сущности. Так, сила чувственного объекта есть сила чувства, сила объекта разума – сила самого разума, и наконец, сила объекта воли – сила воли. Человек, сущность которого определяется звуком, находится во власти чувства, во всяком случае того чувства, которое в звуке находит соответствующий элемент. Но чувством овладевает не звук как таковой, а только звук, полный содержания, смысла, чувства. Чувство определяется только полнотой чувства, то есть самим собой, своей собственной сущностью. То же можно сказать и о воле и разуме. Какой бы объект мы ни познавали, мы познаем в нем нашу собственную сущность; чтобы мы ни осуществляли, мы в этом проявляем самих себя. Воля, чувство, мышление есть нечто совершенное, поэтому нам невозможно чувствовать или воспринимать разумом – разум, чувством – чувство, волей – волю, как ограниченную, конечную, то есть ничтожную силу. Ведь конечность и ничтожество – понятия тождественные; конечность есть только эвфемизм для ничтожества. Конечность есть метафизическое, теоретическое выражение; ничтожество – выражение патологическое, практическое. Что конечно для разума, то ничтожно для сердца. Но мы не можем считать волю, разум и сердце конечными силами, потому что всякое совершенство, всякая сила и сущность непосредственно доказывают и утверждают самих себя. Нельзя любить, хотеть и мыслить, не считая этих факторов совершенствами, нельзя со-

знавать себя любящим, желающим и мыслящим существом, не испытывая при этом бесконечной радости. Сознать для существа – значит быть предметом самого себя; поэтому сознание не есть нечто отличное от сознающего себя существа, иначе как бы могло оно сознавать себя? Поэтому нельзя совершенному существу сознавать себя несовершенством, нельзя чувство ощущать ограниченным и мышлению ставить пределы.

Фейербах Л. Сущность христианства // Избранные философские произведения. М., 1955. Т. 2. С. 30-32.

«Каждое убеждение достаточно сильно, чтобы заставить себя отстаивать ценой жизни» (Монтень).

Артур ШОПЕНГАУЭР (1788-1860)

/.../ Всякое счастье имеет лишь отрицательный, а не положительный характер, /.../ поэтому оно не может быть прочным удовлетворением и удовольствием, а всегда освобождает только от какого-нибудь страдания и лишения, за которым должно последовать или новое страдание, или беспредметная тоска и скука, – это находит себе подтверждение и в верном зеркале сущности мира и жизни – в искусстве, особенно в поэзии. Всякое эпическое или драматическое произведение может изображать только борьбу, стремление, битву за счастье, но никогда не самое счастье, постоянное и окончательное. Оно ведет своего героя к цели через тысячи затруднений и опасностей, но как только она достигнута, занавес быстро опускается. Ибо теперь оставалось бы лишь показать, что сиявшая цель, в которой герой мечтал найти свое счастье, только насмеялась над ним и что после ее достижения ему не стало лучше прежнего. Так как действительное, постоянное счастье, невозможно, то оно и не может быть объектом искусства.

/ТРАГИКОМИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ЖИЗНИ/

/.../ Судьба, точно желая к горести нашего бытия присоединить еще насмешку, сделала так, что наша жизнь должна заключать в себе все ужасы трагедии, но мы при этом лишены даже возможности хранить достоинство трагических персонажей, а обречены проходить все детали жизни в неизбежной пошлости характеров комедии.

/МИР – ОБИТЕЛЬ СТРАДАНИЯ/

Если наконец, каждому из нас воочию показать те ужасные страдания и муки, которым во всякое время подвержена вся наша жизнь, то нас объял бы трепет; и если провести самого закоренелого оптимиста по больницам, лазаретам и камерам хирургических истязаний, по тюрьмам, застенкам, логовищам невольников, через поля битвы и места казни; если открыть перед ним все темные обители нищеты, в которых она прячется от взоров холодного любопытства, и если напоследок дать ему заглянуть в башню голода Уголино, то в конце концов и он, наверное, понял бы, что это за meilleur des mondes possibles. Да и откуда взял Данте для своего ада как не из нашего действительного дара? И тем не менее получился весьма порядочный ад. Когда же, наоборот, перед ним возникла задача изобразить небеса и их блаженство, то он оказался в неодолимом затруднении именно потому, что наш мир не дает материала ни для чего подобного. Вот почему Данте не оставалось ничего другого, как воспроизвести перед ним вместо наслаждений рая те поучения, которые достались ему там в удел от его прародителя, от Беатриче и разных святых. Это достаточно показывает, каков наш мир.

/БЕССОВЕСТНОСТЬ ОПТИМИЗМА/

/.../ Оптимизм, если только он не бессмысленное словоизвержение таких людей, за плоскими лбами которых не обитает ничего, кроме слов, представляется мне не только нелепым, но и поистине бессовестным воззрением, горькой насмешкой над невыразимыми страданиями человечества.

Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Антология мировой философии: В 4 т. М., 1971. Т. 3. С. 698-700.

Фридрих НИЦШЕ (1844-1900)

В течение всей самой длительной эпохи человеческой истории – ее называют доисторической – поступок оценивали по его последствиям: о поступке "в себе", о его истоках не рассуждали, а все было примерно так, как и до сих пор в Китае, где отличия и позор сына отражается на родителях, – успех и неуспех имел обратную силу и побуждал людей думать о поступках хорошо или дурно. Назовем этот период доморальным периодом в истории человечества: об императиве "Познай себя!"

не имели еще понятия. За последние же десять тысячелетий на значительных пространствах земной поверхности шаг за шагом пришли к тому, чтобы о ценности поступка судить не по его последствиям, а по его истокам, – в целом это великое событие, знаменовавшее заметное уточнение взгляда и меры, – продолжавшееся неосознанное действие господствующих аристократических ценностей, веры в "происхождение", признак периода, который в более узком смысле слова можно назвать моральным, – первый опыт самопознания был осуществлен. Вместо следствия исток – какое обращение всей перспективы! И, конечно, произведено оно было после долгой борьбы, после колебаний! Однако, впрочем, вследствие всего случившегося воцарилось новое, роковое суеверие, малодушная узость интерпретации, – начали интерпретировать исток действия как преднамеренный в самом точном смысле слова и согласились считать, что ценность поступка гарантируется ценностью намерения. Намерение как исключительный источник и предыстория поступка, – такое предубеждение сложилось, и под знаком его вплоть до самого последнего времени на земле раздавали моральные хвалы и порицания, судили, а также и философствовали... Однако сегодня – не подошли ли мы уже к необходимости решиться на новое обращение, на фундаментальный сдвиг ценностей благодаря новому осмыслению и самоуглублению человека, – не стоим ли мы на пороге периода, который негативно можно было бы обозначить как внеморальный? Ведь сегодня по крайней мере среди нас, имморалистов, не утихает подозрение, не заключается ли решительная ценность поступка как раз во всем том, что непреднамеренно в нем, и не относится ли все намеренное в поступке, то, о чем может знать действующий, что он может "осознавать", лишь к поверхности, к "коже" поступка, – как и всякая кожа, она что-то выдает, но больше скрывает... Короче говоря, мы полагаем, что намерение – это лишь знак и симптом, еще нуждающийся в истолковании, притом знак, который означает слишком разное, а потому сам по себе не значит почти ничего; мы полагаем, что мораль в прежнем смысле слова, мораль преднамеренности, была предрассудком, чем-то предварительным и преждевременным, чем-то вроде астрологии и алхимии, что во всяком случае надлежало преодолеть. Преодоление морали, а в известном смысле и ее самоопределение, – пусть так назовется тот длительный, подспудно совершаемый труд, какой поручен самой тончайшей и правдивейшей совести – но тоже и самой злоковарной совести наших дней, живым пробирным камням души...

Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Вопросы философии. 1989. №5. С. 140-141.

7. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ

Марксистская философия – философия, созданная К. Марксом и Ф. Энгельсом. Она возникла в 40-х годах XIX века как составная часть учения, высшую цель представители которого видели в разработке и теоретическом обосновании освобождения поработанного человечества.

Главный тезис К. Маркса гласит, что именно практика – труд человека – является основой человеческого мира. Она первична и исходна по отношению ко всему духовному миру, культуре. Так, в «Тезисах о Фейербахе» (1845) утверждается, что жизнь людей носит преимущественно практический характер. Преобразование природного и социального мира является основой всех изменений в культуре, искусстве, философии, политике.

Задание.

- 1. Подумайте, можно ли определить марксистский подход к человеку как социоцентризм.*
- 2. Проанализируйте марксистское определение сущности человека как «ансамбля общественных отношений».*
- 3. Каковы основные факторы процесса антропосоциогенеза по мнению Ф.Энгельса?*
- 4. Почему труд является «первым основным условием всей человеческой жизни». Объясните позицию Фридриха Энгельса.*
- 5. Каково соотношение биологического и социального в человеке?*
- 6. В чем смысл жизни человека?*

Карл МАРКС
(1818-1883)

ТЕЗИСЫ О ФЕЙЕРБАХЕ

1

Главный недостаток всего предшествующего материализма – включая и фейербаховский – заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом, но только абстрактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувственной деятельности как таковой. Фейербах хочет иметь дело с чувственными объектами, действительно отличными от мысленных объектов, но саму человеческую деятельность он берет не как предметную деятельность. Поэтому в "Сущности христианства" он рассматривает, как истинно человеческую, только теоретическую деятельность, тогда как практика берется и фиксируется только в грязно-торгашеской форме ее проявления. Он не понимает поэтому значения "революционной", "практически-критической" деятельности.

2

Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, – вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т.е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности и недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос.

3

Материалистическое учение о том, что люди суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, – это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно неизбежно поэтому приходит к тому, что делит общество на две части, одна из которых возвышается над обществом (например, у Роберта Оуэна).

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная практика.

Фейербах исходит из факта религиозного самоотчуждения, из удвоения мира на религиозный, воображаемый мир и действительный мир. И он занят тем, что сводит религиозный мир к его земной основе. Он не замечает, что после выполнения этой работы главное-то остается еще не сделанным. А именно, то обстоятельство, что земная основа отделяет себя от самой себя и переносит в облака как некое самостоятельное царство, может быть объяснено только саморазорванностью и самопротиворечивостью этой земной основы. Следовательно, последняя, во-первых, сама должна быть понята в своем противоречии, а затем практически революционизирована путем устранения этого противоречия. Следовательно, после того, как, например, в земной семье найдена разгадка тайны святого семейства, земная семья должна сама быть подвергнута теоретической критике и практически революционно преобразована.

Недовольный абстрактным мышлением, Фейербах апеллирует к чувственному созерцанию; но он не рассматривает чувственность как практическую, человечески-чувственную деятельность.

Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений.

Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности, оказывается поэтому вынужденным:

1) абстрагироваться от хода истории, рассматривать религиозное чувство обособленно и предположить абстрактного – изолированного – человеческого индивида;

2) поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как "род", как внутренняя, немая всеобщность, связующая множество индивидов только природными узами.

Поэтому Фейербах не видит, что "религиозное чувство" само есть общественный продукт и что абстрактный индивид, подверженный им анализу, в действительности принадлежит к определенной форме общества.

8

Общественная жизнь является по существу практической. Все мистерики, которые уводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике и в понимании этой практики.

9

Самое большое, до чего доходит созерцательный материализм, т.е. материализм, который не постигает чувственность как практическую деятельность, это – созерцание им отдельных индивидов в "гражданском обществе".

10

Точка зрения старого материализма есть "гражданское" общество; точка зрения нового материализма есть человеческое общество, или обобществившееся человечество.

11

Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его.

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Т. 42. С. 264-266.

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС (1820-1895)

РОЛЬ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ В ЧЕЛОВЕКА

Труд – источник всякого богатства, утверждают политэкономы. Он действительно является таковым наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превращает в богатство. Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он – первое основное условие всей человеческой жизни, и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека.

Много сотен тысячелетий тому назад, в еще не поддающийся точному определению промежуток времени того периода в развитии земли, который геологи называют третичным, предположительно к концу этого периода жила где-то в жарком поясе – по всей вероятности, на обширном материке, ныне погруженном на дно Индийского океана, – необычайно высокоразвитая порода человекообразных обезьян. Дарвин

дал нам приблизительное описание этих наших предков. Они были сплошь покрыты волосами, имели бороды и остроконечные уши и жили стадами на деревьях.

Под влиянием в первую очередь, надо думать, своего образа жизни, требующего, чтобы при лазании руки выполняли иные функции, чем ноги, эти обезьяны начали отвыкать от помощи рук при ходьбе по земле и стали усваивать все более и более прямую походку. Этим был сделан решающий шаг для перехода от обезьяны к человеку.

Все существующие еще ныне человекообразные обезьяны могут стоять прямо и передвигаться на одних только ногах, но лишь в случае крайней необходимости и в высшей степени неуклюже. Их естественное передвижение совершается в полувыпрямленном положении и включает употребление рук. Большинство из них при ходьбе опираются о землю средними фалангами согнутых пальцев рук и, поджимая ноги, продвигают тело между длинными руками, подобно хромоту, ходящему на костылях. Вообще мы и теперь еще можем наблюдать у обезьян все переходные ступени от хождения на четвереньках до хождения на двух ногах. Но ни у одной из них последнее не стало чем-то большим, нежели вынужденным приемом, применяемым в крайнем случае.

Если прямой походке у наших волосатых предков суждено было стать сначала правилом, а потом и необходимостью, то это предполагает, что на долю рук тем временем доставалось все больше и больше других видов деятельности. Уже и у обезьян существует известное разделение функций между руками и ногами. Как уже упомянуто, при лазании они пользуются руками иначе, чем ногами. Рука служит преимущественно для целей собирания и удержания пищи, как это уже делают некоторые низшие млекопитающие при помощи своих передних лап. С помощью руки некоторые обезьяны строят себе гнезда на деревьях и даже, как шимпанзе, навесы между ветвями для защиты от непогоды. Рукой они схватывают дубины для защиты от врагов или бомбардируют последних плодами и камнями. При ее же помощи они выполняют в неволе ряд простых операций, которые они перенимают у людей. Но именно тут-то и обнаруживается, как велико расстояние между неразвитой рукой даже самых высших человекообразных обезьян и усовершенствованной трудом сотен тысячелетий человеческой рукой. Число и общее расположение костей и мускулов одинаково у обеих, и тем не менее рука даже самого первобытного дикаря способна выполнять сотни операций, не доступных никакой обезьяне. Ни одна обезьянья рука не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого каменного ножа.

Поэтому те операции, к которым наши предки в эпоху перехода от обезьяны к человеку на протяжении многих тысячелетий постепенно научились приспособлять свою руку, могли быть вначале только очень простыми. Самые низшие дикари и даже те из них, у которых приходится предположить возврат к более звероподобному состоянию с одно-временным физическим вырождением, всё же стоят гораздо выше тех переходных существ. Прежде чем первый камень при помощи человеческой руки был превращен в нож, должен был, вероятно, пройти такой длинный период времени, что в сравнении с ним известный нам исторический период является незначительным. Но решающий шаг был сделан, рука стала свободной и могла теперь усваивать себе всё новые и новые сноровки, а приобретенная этим большая гибкость передавалась по наследству и возрастала от поколения к поколению.

Рука, таким образом, является не только органом труда, она также и продукт его. Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям, благодаря передаче по наследству достигнутого таким путем особого развития мускулов, связок и, за более долгие промежутки времени, также и костей, и благодаря все новому применению этих переданных по наследству усовершенствований к новым, все более сложным операциям, – только благодаря всему этому человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини.

Но рука не была чем-то самодовлеющим. Она была только одним из членов целого, в высшей степени сложного организма. И то, что шло на пользу руке, шло также на пользу всему телу, которому она служила, и шло на пользу в двояком отношении.

Прежде всего в силу того закона, который Дарвин назвал законом соотношения роста. Согласно этому закону известные формы отдельных частей органического существа всегда связаны с определенными формами других частей, которые, казалось бы, ни в какой связи с первыми не находятся. Так, например, все без исключения животные, которые обладают красными кровяными тельцами без клеточного ядра и у которых затылочная кость сочленена с первым позвонком двумя суставами бугорками, обладают также молочными железами для кормления детенышей. Так, у млекопитающих отдельные копыта, как правило, связаны с наличием сложного желудка, приспособленного к процессу жвачки. Изменения определенных форм влекут за собой изменение формы других частей тела, хотя мы и не в состоянии объяснить эту связь. Совершенно белые кошки с голубыми глазами всегда или почти

всегда оказываются глухими. Постепенное усовершенствование человеческой руки и идущее рядом с этим развитие и приспособление ноги к прямой походке несомненно оказали, также и в силу закона соотношения, обратное влияние на другие части организма. Однако этого рода воздействие еще слишком мало исследовано, и мы можем здесь только констатировать его в общем виде.

Значительно важнее непосредственное, поддающееся доказательству обратное воздействие руки на остальной организм. Наши обезьяноподобные предки, как уже сказано, были общественными животными; вполне очевидно, что нельзя выводить происхождение человека, этого наиболее общественного из всех животных, от необщественных ближайших предков. Начинаясь вместе с развитием руки, вместе с трудом господство над природой расширяло с каждым новым шагом вперед кругозор человека. В предметах природы он постоянно открывал новые, до того неизвестные свойства. С другой стороны, развитие труда по необходимости способствовало более тесному сплочению членов общества, так как благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной деятельности, и стало ясней сознание пользы этой совместной деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность что-то сказать друг другу. Потребность создала себе свой орган: неразвитая гортань обезьяны медленно, но неуклонно преобразовывалась путем модуляции для все более развитой модуляции, а органы рта постепенно научились произносить один членораздельный звук за другим.

Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг, который, при всем сходстве с обезьяньим, далеко превосходит его по величине и совершенству. А параллельно с дальнейшим развитием мозга шло дальнейшее развитие его ближайших орудий — органов чувств. Подобно тому как постепенное развитие речи неизменно сопровождается соответствующим усовершенствованием органа слуха, точно также развитие мозга вообще сопровождается усовершенствованием всех чувств в их совокупности. Орел видит значительно дальше, чем человек, но человеческий глаз замечает в вещах значительно больше, чем глаз орла. Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека являются определенными признаками различных вещей. А чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме,

заработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду.

Развитие мозга и подчиненных ему чувств, все более и более проявляющегося сознания, способности к абстракции и к умозаключению оказывало обратное воздействие на труд и на язык, давая обоим всё новые и новые толчки к дальнейшему развитию. Это дальнейшее развитие с момента окончательного отделения человека от обезьяны отнюдь не закончилось, а наоборот, продолжалось и после этого; будучи у различных народов и в различные эпохи по степени и по направлению различным, иногда даже прерываясь местными и временными движениями назад; оно в общем и целом могучей поступью шло вперед, получив с одной стороны, новый мощный толчок, а с другой стороны – более определенное направление благодаря тому, что с появлением готового человека возник вдобавок еще новый элемент – общество.

Наверное протекли сотни тысяч лет, – и в истории Земли имеющие не большее значение, чем секунда в жизни человека,¹⁰ – прежде чем из стада лазающих по деревьям обезьян возникло человеческое общество. Но все же оно, наконец, появилось. И в чем же опять мы находим характерный признак человеческого общества, отличающий его от стада обезьян? **В труде.**

Труд начинается с изготовления орудий. А что представляют собой наиболее древние орудия, которые мы находим, – наиболее древние, судя по найденным предметам, оставшимся нам в наследство от доисторических людей, и по образу жизни наиболее ранних исторических народов, а также и наиболее примитивных современных дикарей? Эти орудия представляют собой орудия охоты и рыболовства; первые являются одновременно и оружием. Но охота и рыболовство предполагают переход от исключительного употребления растительной пищи к потреблению наряду с ней и мяса, а это знаменует собой важный шаг на пути к превращению в человека. Мясная пища содержала в почти готовом виде наиболее важные вещества, в которых нуждается организм для своего обмена веществ; она сократила процесс пищеварения и вместе с тем продолжительность других вегетативных (т.е. соответствующих явлениям растительной жизни) процессов в организме и этим сэкономила больше времени, вещества и энергий для активного проявления животной, в собственном смысле слова, жизни. А чем больше формировавшийся человек удалялся от растительного царства, тем больше он воз-

¹⁰ Авторитет первого ранга в этой области, сэр Уильям Томсон вычислил, что немногим более сотни миллионов лет, вероятно, прошло с тех пор, как Земля настолько остыла, что на ней могли жить растения и животные.

вышел также и над животными. Как приучение диких кошек и собак к потреблению растительной пищи наряду с мясной способствовало тому, что они стали слугами человека, так и привычка к мясной наряду с растительной пищей способствовала увеличению физической силы и самостоятельности формировавшегося человека. Но наиболее существенное влияние мясная пища оказала на мозг, получивший благодаря ей в гораздо большем количестве, чем раньше, те вещества, которые необходимы для его питания и развития, что дало ему возможность быстрее и полней совершенствоваться из поколения в поколение. С позволения господ вегетарианцев, человек не мог стать человеком без мясной пищи, и если потребление мясной пищи у всех известных нам народов в то или иное время влекло за собой людоедство (предки берлинцев, велетабы или вильцы, еще в X столетии поедали своих родителей), то нам теперь до этого уже никакого дела нет.

Употребление мясной пищи привело к двум новым достижениям, имеющим решающее значение: к пользованию огнем и приручению животных. Первое еще более сократило процесс пищеварения, так как оно доставляло рту, так сказать, уже полупереваренную пищу; второе обогатило запасы мясной пищи, так как наряду с охотой оно открыло новый источник, откуда ее можно было черпать более регулярно, и доставило, кроме того, в виде молока и его продуктов новый, по своему составу по меньшей мере равноценный мясу, предмет питания. Таким образом, оба эти достижения уже непосредственно стали новыми средствами эмансипации для человека. Останавливаться здесь подробно на их косвенных последствиях, как бы важны они ни были для развития человека и общества, мы не можем, так как это слишком отвлекло бы нас в сторону.

Подобно тому, как человек научился есть все съедобное, он также научился и жить во всяком климате. Он распространился по всей пригодной для жилья земле, он, единственное животное, которое в состоянии было сделать это самостоятельно. Другие животные, приспособившиеся ко всем климатам, научились этому не самостоятельно, а только следуя за человеком: домашние животные и насекомые-паразиты. А переход от равномерно жаркого климата первоначальной родины в более холодные страны, где год делится на зиму и лето, создал новые потребности в жилище и одежде для защиты от холода и сырости, создал, таким образом, новые отрасли труда и вместе с тем новые виды деятельности, которые все более отдаляли человека от животного.

Благодаря совместной деятельности руки, органов речи и мозга не только у каждого в отдельности, но также и в обществе, люди приобре-

ли способность выполнять все более сложные операции, ставить себе все более высокие цели и достигать их. Самый труд становится от поколения к поколению все более разнообразным, более совершенным, более многосторонним. К охоте и скотоводству прибавилось земледелие, затем прядение и ткачество, обработка металлов, гончарное ремесло, судоходство. Наряду с торговлей и ремеслами появились, наконец, искусство и наука; из племен развились нации и государства. Развились право и политика, а вместе с ними фантастическое отражение человеческого бытия в человеческой голове – религия. Перед всеми этими образованиями, которые выступали прежде всего как продукты головы и казались чем-то господствующим над человеческими обществами, более скромные произведения работающей руки отступили на задний план, тем более, что планирующая работу голова уже на очень ранней ступени развития общества (например, уже в простой семье) имела возможность заставить не свои, а чужие руки выполнять намеченную ей работу. Всю заслугу быстрого развития цивилизации стали приписывать голове, развитию и деятельности мозга. Люди привыкли объяснять свои действия из своего мышления, вместо того чтобы объяснять их из своих потребностей (которые при этом, конечно, отражаются в голове, осознаются), и этим путем с течением времени возникло то идеалистическое мировоззрение, которое овладело умами, в особенности со времени гибели античного мира. Оно и теперь владеет умами в такой мере, что даже наиболее материалистически настроенные естествоиспытатели школы Дарвина не могут еще составить себе ясного представления о происхождении человека, так как, в силу указанного идеологического влияния, они не видят той роли, которую играл при этом труд.

Чем более люди отдаляются от животных, тем более их воздействие на природу принимает характер преднамеренных, планомерных действий, направленных на достижение определенных, заранее известных целей. Животное уничтожает растительность какой-нибудь местности, не ведая, что творит. Человек же ее уничтожает для того, чтобы на освободившейся почве посеять хлеба, насадить деревья или разбить виноградник, зная, что это принесет ему урожай, в несколько раз превышающий то, что он посеял. Он переносит полезные растения и домашних животных из одной страны в другую и изменяет таким образом флору и фауну целых частей света. Более того, при помощи разных искусственных приемов разведения и выращивания растения и животные так изменяются под рукой человека, что становятся неузнаваемыми. Те дикие растения, от которых ведут свое происхождение наши зерновые культуры, еще до сих пор не найдены. От какого дикого животного

происходят наши собаки, которые даже между собой так резко отличаются друг от друга, или наши толь же многочисленные лошадиные породы - является все еще спорным.

Впрочем, само собой разумеется, что мы не думаем отрицать у животных способность к планомерным, преднамеренным действиям. Напротив, планомерный образ действий существует в зародыше уже везде, где протоплазма, живой белок существует и реагирует, т.е. совершает определенные, хотя бы самые простые движения как следствие определенных раздражений извне. Такая реакция имеет место даже там, где еще нет никакой клетки, не говоря уже о нервной клетке. Прием, при помощи которого насекомоядные растения захватывают свою добычу, является тоже в известном отношении планомерным, хотя совершается вполне бессознательно. У животных способность к сознательным, планомерным действиям развивается в соответствии с развитием нервной системы и достигает у млекопитающих уже достаточно высокой ступени. Во время английской псовой охоты на лисиц можно постоянно наблюдать, как безошибочно лисица умеет применять свое великолепное знание местности, чтобы скрыться от своих преследователей, и как хорошо она знает и умеет использовать все благоприятные для нее свойства территории, прерывающие ее след. У наших домашних животных, более высоко развитых благодаря общению с людьми, можно ежедневно наблюдать акты хитрости, стоящие на одинаковом уровне с такими же актами у детей. Ибо, подобно тому, как история развития человеческого зародыша во чреве матери представляет собой лишь сокращенное повторение развертывающейся на протяжении миллионов лет истории физического развития наших животных предков, начиная с червя, точно так же и духовное развитие ребенка представляет собой лишь еще более сокращенное повторение умственного развития тех же предков, — по крайней мере более поздних. Но все планомерные действия всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это мог сделать только человек.

Коротко говоря, животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это является последним существенным отличием человека от остальных животных, и этим отличием человек опять-таки обязан труду.

Не будем, однако, слишком обольщаться нашими победами над природой. За каждую такую победу она нам мстит. Каждая из этих побед имеет, правда, в первую очередь те последствия, на которые мы

рассчитывали, но во вторую и третью очередь совсем другие, непредвиденные последствия, которые очень часто уничтожают значение первых. Людям, которые в Месопотамии, Греции, Малой Азии и в других местах выкорчевывали леса, чтобы получить таким путем пахотную землю, и не снилось, что они этим положили начало нынешнему запустению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров скопления и сохранения влаги. Когда альпийские итальянцы вырубали на южном склоне гор хвойные леса, так заботливо охраняемые на северном, они не предвидели, что этим подрезывают корни высокогорного скотоводства в своей области; еще меньше они предвидела, что этим они на большую часть года оставят без воды свои горные источники, с тем чтобы в период дождей эти источники могли изливать на равнину тем более бешеные потоки. Распространители картофеля в Европе не знали, что они одновременно с мучнистыми клубнями распространяют и золотуху. И так на каждом шагу факты напоминают нам о том, что мы отнюдь не властвуем над природой так, как завоеватель властвует над чужим народом, не властвуем над ней так, как кто-либо находящийся вне природы, - что мы, наоборот, нашей плотью, кровью и мозгом принадлежим ей и находимся внутри ее, что все наше господство над ней состоит в том, что мы, в отличие от всех других существ, умеем познавать ее законы и правильно их применять...

Маркс К., Энгельс Ф. Полное собрание сочинений. Т. 20. С. 486-496.

8. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА

Проблема человека в западной философии XX века является одной из тех, что объединяют философов самых разных школ, течений, взглядов. Антропологический поворот в философии был предопределен всем ходом развития социальной ситуации и духовной культуры с начала XX века. Повышенный интерес к экзистенциальной проблематике вызван общей нестабильностью обстановки в мире (войны, революции, отказ от классического рационализма), непредсказуемостью будущего, усложнением проблем личного бытия и спасения.

К настоящему времени западная философия накопила значительный опыт в исследовании проблем антропосоциогенеза, духовного мира личности, её смысложизненных ориентаций.

Человек внимательно изучается представителями герменевтики. Они ставят задачу выяснения основ понимания человека человеком, возможностей диалога неповторимых "жизненных" миров. Философия неоструктурализма исследует скрытые, неосознанные основания человеческой деятельности, отраженные в языке. Широко в западной философской антропологии представлены такие аспекты проблемы бытия человека как человек в условиях техногенной цивилизации, в глобализационном процессе, нравственные ориентации, поиски счастья.

Даже такое направление как "философия науки", которое долгое время исследовало "бессубъектное знание" сейчас часто обращается к проблеме человека. Человеческие желания, установки, идеалы признаются в качестве важного фактора в развитии научного знания.

Современная христианская философия выглядит очень демократичной, направленной к духовным нуждам конкретного человека. Тонко приспособиваясь к новой исторической ситуации, она оптимистично ищет пути преодоления катастрофических умонастроений, проповедует гармонию человека и мира.

Знакомство с философскими текстами по отдельным аспектам проблемы человека, в которых представлены различные, порой противоположные, позиции авторов, поможет студентам освоить мировой философский опыт, создаст основу для продуктивного творческого диалога. Персонализм, философия жизни, экзистенциализм, философская антропология всегда рассматривали человека в качестве единственной проблемы, достойной философского изучения. В. Дильтей писал: "Не в мире, а в человеке философия должна искать внутреннюю связь своих познаний". В. Дильтей. *Типы мировоззрения и обнаружение их в метафизических системах // Новые идеи в философии. СПб., 1912. Сб. 1. С. 122-123*

Задание. 1. Й. Хейзинга в работе «*Homo Ludens*» ведущим фактором антропосоциогенеза называет игру. Приведите его аргументы.

2. В чем проявляется «игроизация» человеческой жизни?

3. Как объясняет «парадокс человека» П. Тейяр де Шарден?

4. Что такое гуманизм, каковы его виды?

5. Какой новый опыт философской антропологии предлагает М. Шелер?

6. Согласны ли Вы, что жизненная цель человека определяется программой принципа наслаждения? (З. Фрейд)

7. Какие факторы способствуют популярности идей психоанализа в современной культуре?

8. Какова роль бессознательного в развитии человека?

9. Что такое бунтующий человек?

Пьер ТЕЙЯР ДЕ ШАРДЕН (1881-1955)

С чисто позитивистской точки зрения человек – самый таинственный и сбивающий с толку объект науки. И следует признать, что в своих изображениях универсума наука действительно ещё не нашла ему места. Физике удалось временно очертить мир атома. Биология сумела навести некоторый порядок в конструкциях жизни. Опираясь на физику и биологию, антропология в свою очередь, кое-как объясняет структуру человеческого тела и некоторые механизмы его физиологии. Но полученный при объединении всех этих черт портрет явно не соответствует действительности. Человек в том виде, каким его удастся воспроизвести сегодняшней науке, – животное, подобное другим. По своей анатомии

он так мало отличается от человекообразных обезьян, что современные классификации зоологии, возвращаясь к позициям Линнея, помещают его вместе с ними, в одно и то же семейство гоминоидных. Но если судить по биологическим результатам его появления, то не представляет ли он собой как раз нечто совершенно иное?

Ничтожный морфологический скачок и вместе с тем невероятное потрясение сфер жизни – в этом весь парадокс человека... Поэтому совершенно очевидно, что в своих реконструкциях мира нынешняя наука пренебрегает существенным фактором, или, лучше сказать, целым измерением универсума.

Согласно общей гипотезе, направляющей нас с первых страниц данной книги к цельному и выразительному истолкованию нынешнего внешнего облика Земли, в этой новой части, посвященной мысли, я хотел бы показать, что для выявления естественного положения человека в мире, каким он нам дан в опыте, необходимо и достаточно принять во внимание как внешнюю, так и внутреннюю стороны вещей. Этот метод уже позволил нам оценить величие и смысл развития жизни. Этот же метод согласует в нашем представлении ничтожность и высшее значение феномена человека в ряду, гармонически нисходящем к жизни и материи.

Что же случилось между последними слоями плиоцена, где ещё нет человека, и следующим уровнем, где ошеломленный геолог находит первые обтесанные кварциты? И какова истинная величина скачка?

Как среди биологов до сих пор господствует неуверенность относительно наличия направления и тем более определенной оси эволюции, так по сходным причинам между психологами все ещё имеют место самые серьезные разногласия по вопросу о том, отличается ли специфически (по "природе") человеческая психика от психики существ, появившихся до него. Действительно, большинство "ученых" скорее отрицает наличие подобного разрыва. Чего только не писали и не пишут сегодня о разуме животных!

Для окончательного решения вопроса о "превосходстве" человека над животными (его необходимо решить в интересах этики жизни, так же как в интересах чистого знания...) я вижу только одно средство – решительно устранить из совокупности человеческих поступков все второстепенные и двусмысленные проявления внутренней активности и рассмотреть центральный феномен – рефлексию.

С точки зрения, которой мы придерживаемся, рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специ-

фической устойчивостью и своим специфическим значением, — способность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь. Путем этой индивидуализации самого себя внутри себя живой элемент, до того распыленный и разделенный в смутном кругу восприятий и действий, впервые превратился в точечный центр, в котором все представления и опыт связываются и скрепляются в единое целое, осознающее свою организацию.

Каковы же последствия подобного превращения? Они необъятны, и мы их так же ясно видим в природе, как любой из фактов, зарегистрированных физикой или астрономией. Рефлектирующее существо в силу самого, сосредоточивая на самом себе внезапно становится способным развиваться в новой сфере. В действительности это возникновение нового мира. Абстракция, логика, обдуманый выбор и изобретательность, математика, искусство, рассчитанное восприятие пространства и длительности, тревоги и мечтания любви... Вся эта деятельность внутренней жизни не что иное, как возбуждение вновь образованного центра, воспаляющегося в самом себе.

Установив это, я спрашиваю: если действительно "разумное" существо характеризуется "рефлектирующей способностью", как это вытекает из предшествующего изложения, то можно ли серьезно сомневаться, что разум — эволюционное достояние только человека? И следовательно, можем ли мы из какой-то ложной скромности колебаться и не признавать, что обладание разумом дает человеку коренной перевес над всей предшествующей ему жизнью? Разумеется, животное знает. Но, безусловно, оно не знает о своем знании — иначе бы оно давным-давно умножило изобретательность и развило бы систему внутренних построений, которая не ускользнула бы от наших наблюдений. Следовательно, перед животным закрыта одна область реальности, в которой мы развиваемся, но куда оно не может вступить. Нас разделяет ров или порог, непреодолимый для него. Будучи рефлектирующими, мы не только отличаемся от животного, но мы иные по сравнению с ним. Мы не простое измерение степени, а изменение природы, как результат изменения состояния...

Если история жизни, как мы сказали, есть, по существу, развитие сознания, завуалированное морфологией, то неизбежно у вершины ряда, по соседству с человеком формы психики должны доходить до уровня разума. Это как раз и происходит.

И тогда проясняется сам "парадокс человека". Смущенные тем, как мало "антропос", несмотря на свое неоспоримое умственное превосходство, отличается анатомически от других антропоидов, мы — по

крайней мере у точки возникновения – чуть ли не отказываемся их разделять. Но это удивительное сходство – не это ли в точности должно было случиться?..

Когда вода при нормальном давлении достигает 100°C, то при дальнейшем нагревании сразу наступает беспорядочная экспансия высвобождающихся и испаряющихся молекул без изменения температуры. Если по восходящей оси конуса производить друг за другом сечения, площадь которых постоянно уменьшается, то наступает момент, когда при еще одном бесконечно малом перемещении поверхность исчезает и становится точкой. Так, посредством этих отдаленных сравнений мы можем представить себе механизм критической ступени мышления.

С конца третичного периода на протяжении более 500 миллионов лет в клеточном мире поднималась психическая температура. От ветви к ветви, от пласта к пласту, как мы видели, нервные системы все более усложнялись и концентрировались. В конечном счете у приматов сформировалось столь замечательное гибкое и богатое орудие, что непосредственно следующая за ним ступень могла образоваться лишь при условии полной переплавки и консолидации в самой себе всей животной психики. Но развитие не остановилось, ибо ничто в структуре организма этому не препятствовало. Антропоиду, "по уму" доведенному до 100° было добавлено несколько калорий. В антропоиде, почти достигнувшей вершины конуса, свершилось последнее усилие по оси. Этого было достаточно, чтобы опрокинулось внутреннее равновесие. То, что было лишь центрированной поверхностью, стало центром. В результате ничтожно малого "тангенциального" прироста "радиальное" преобразовалось и как бы сделало скачек вперед, в бесконечность. Внешне почти никакого изменения в органах. Но внутри – великая революция: сознание забурлило и брызнуло в пространство сверхчувственных отношений и представлений, и в компактной простоте своих способностей оно обрело способность замечать самое себя. И всё это впервые.

Спиритуалисты правы, когда они так настойчиво защищают некоторую трансцендентальность человека по отношению к остальной природе. Но и материалисты также не ошибаются, когда утверждают, что человек – это лишь еще один член в ряду животных форм. В этом случае, как и во многих других, два очевидных антитезиса разрешаются в развитии, если только в этом развитии существенное место было отведено совершенно естественному явлению "изменения состояния". Да, от клетки до мыслящего животного так же, как от атома до клетки, непрерывно продолжается все в том же направлении один и тот же процесс (возбуждения, или психической концентрации). Но в силу этого самого

постоянства действия с точки зрения физики неизбежно некоторые скачки внезапно преобразуют субъект, подверженный операции.

Перерыв непрерывности. Так теоретически определяется и представляется нам механизм возникновения мысли, точно так же, как и первого появления жизни.

Каким же образом этот механизм действовал в конкретной действительности? Какие внешние проявления метаморфозы заметил бы; наблюдатель, предполагаемый свидетель кризиса?

Вероятно, наш рассудок никогда не получит об этом желанного представления, так же как не сможет нарисовать картину возникновения жизни по причинам, которые я вскоре изложу, рассматривая "первоначальные человеческие проявления". Самое большое, чем мы можем руководствоваться в данном случае, — это представить себе пробуждение сознания ребенка в ходе онтогенеза... Однако следует сделать два замечания — одно из них ограничивает, а другое делает еще более глубокой тайну, которой окутана для нашего воображения эта единственная точка.

Во-первых, чтобы достигнуть в человеке ступени рефлексии, жизнь должна была исподволь и одновременно подготовить пучок факторов, на "провиденциальную" связь которых на первый взгляд ничто не указывало.

Верно, что с органической точки зрения вся гоминизантная метаморфоза в конечном счете сводится к вопросу о лучшем мозге. Но как произошло бы это мозговое усовершенствование, как бы оно функционировало, если бы не был одновременно найден и в совокупности реализован целый ряд других условий?.. Если бы существо, от которого произошел человек, не было двуногим, его руки не освободились бы своевременно и не освободили челюсти от хватательной функций, и, следовательно, плотная повязка челюстных мускулов, сдавливавшая череп, не была бы ослаблена. Мозг смог увеличиться лишь благодаря прямой походке, освободившей руки, и вместе с тем благодаря ей глаза приблизились друг к другу на уменьшившемся лице, смогли смотреть в одну точку и фиксировать то, что брали, приближали и показывали во всех направлениях руки — внешне выраженный жест самой рефлексии!.. Само по себе это чудесное сочетание не должно нас удивлять. Не является ли все, что образуется в мире, продуктом поразительного совпадения — узлом волокон, всегда идущих из четырех сторон пространства? Жизнь не действует по одной изолированной линии или отдельным приемам. Она движет вперед одновременно всю свою сеть. Так формируется зародыш в несущем чреве. Мы должны были это знать. Но нам доставляет особенное удовлетворение признание того, что возникнове-

ние человека происходило на основе действия того же самого материнского закона. Мы рады признать, что возникновение разума связано с развитием не только нервной системы, но и всего существа. Однако на первый взгляд нас пугает констатация того, что этот шаг должен был совершиться сразу.

Ибо таково должно быть мое второе замечание, которого я не могу избежать. Рассматривая онтогенез человека, мы можем и не обратить внимание на то, в какой момент можно сказать, что новорожденный достигает разумного состояния, становится мыслящим. Ведь от яйца до взрослого здесь непрерывный ряд состояний, следующих друг за другом у одного и того же индивида. Какое значение имеет место разрыва или даже само его наличие? Совсем другое дело в случае филетического эмбриогенеза, где каждая стадия, каждое состояние представлены различными существами. Здесь совершенно невозможно (по крайней мере при наших нынешних методах мышления) уйти от проблемы прерывности... Если переход к рефлексии действительно, как того требует его физическая природа и как мы это допустили, есть критическая трансформация, мутация от нуля ко всему, то невозможно представить себе на этом точном уровне промежуточного индивида. Или это существо еще по ту сторону изменения состояния, или оно уже по ту сторону... Можно как угодно переворачивать проблему. Или надо сделать мысль невообразимой, отрицая её психическую трансцендентальность относительно инстинкта. Или надо решиться допустить, что ее появление произошло между двумя индивидами.

Предложение, безусловно, ошеломляющее, но оно оказывается совсем не таким уж странным, если учесть, что ничто не мешает нам предположить, оставаясь в рамках строго научного подхода, что у своих филетических истоков разум мог (или даже должен был) быть также мало заметен внешне, как мало он нам еще заметен на онтогенетической стадии у каждого новорожденного. В таком случае всякий осязаемый предмет спора между наблюдателем и теоретиком исчезает...

Не пытаясь представить невообразимое, вспомним только, что возникновение мысли представляет собой порог, который должен быть перейден одним шагом. "Трансопытный" интервал, о котором с научных позиций сказать нечего, но за которым мы переходим на совершенно новый биологический уровень...

И только здесь до конца раскрывается природа ступени рефлексии. Во-первых, изменение состояния. Во-вторых, вследствие этого изменения начало жизни другого рода – той внутренней жизни, которую я определил выше. Только что простоту мыслящего духа мы сравнили с

простотой геометрической точки. Но скорее следовало говорить о линии или оси. В самом деле, для разума "быть положенным" не означает "быть завершенным". Едва родившись, ребенок должен дышать – иначе он умрет...

Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987. С. 135-141, 189-191.

Мартин ХАЙДЕГГЕР (1889-1976)

... В чем состоит человечность человека? Она покоится в его сущности.

А из чего и как определяется сущность человека? Маркс требует познать и признать "человечного человека"... Он обнаруживает его в "обществе". "Общественный" человек есть для него "естественный" человек. "Обществом" соответственно обеспечивается "природа" человека, то есть совокупность его "природных потребностей" (пища, одежда, воспроизведение, экономическое благополучие). Христианин усматривает человечность человека в свете его отношения к божеству. В плане истории спасения он – человек как "дитя Божие", слышащее и воспринимающее зов Божий во Христе. Человек – не от мира сего, поскольку "мир", в теоретически-платоническом смысле, остается лишь эпизодическим преддверием к потустороннему.

Отчетливо и под своим именем *humanitas* впервые была продумана и поставлена как цель в эпоху римской республики. "Человечный человек", *homo humanus*, противопоставляет себя "варварскому человеку", *homo barbarus*. *Homo humanus* тут – римлянин, совершенствующий и облагораживающий римскую "добродетель", *virtus*, путем "усвоения" перенятой от греков "пайдейи". Греки – это греки позднего эллинизма, чья образованность преподавалась в философских школах. Она охватывает "круг знания", *eruditio*, и "наставление в добрых искусствах", *institutio in bonas artes*. Так понятая "пайдейя" переводится через *humanitas*. Собственно "римскость", *romanitas*, "человека-римлянина", *homo romanus*, состоит в такой *humanitas*. В Риме мы встречаем первый "гуманизм". Он останется тем самым по сути специфически римским явлением, возникшим от встречи римского латинства с образованностью позднего эллинизма. Так называемый Ренессанс 14 и 15 веков в Италии есть "возрождение римской добродетели"; *renascentia rjmanitatis*. Поскольку возрождается *romanitas*, речь идет о *humanitas* и тем самым о греческой

"пайдейс". Греческий мир, однако, видят все время лишь в его позднем облике, и да и то в свете Рима. Homo hominus Ренессанса – тоже противоположность к *homo barbarus*. Но бесчеловечное теперь – это мнимое варварство готической схоластики Средневековья. К гуманизму в его историографическом понимании, стало быть, всегда относится "культивирование человечности", *studium humanitatis*, неким определенным образом обращающееся к античности и потому превращающееся так или иначе в реанимацию греческого мира. Это видно по нашему немецкому гуманизму 18 века, носители которого – Винкельман, Гёте, Шиллер, Гёльдерлин, наоборот, не принадлежит к "гуманизму", а именно потому, что он мыслит судьбу *человеческого* существа самобытнее, чем это доступно "гуманизму".

Если же люди понимают под гуманизмом вообще озабоченность тем, чтобы человек освободился для собственной человечности и обрел в ней своё достоинство, то, смотря по трактовке "свободы" и "природы" человека, гуманизм окажется разным. Различаются также и пути его осуществления. Гуманизм Маркса не нуждается ни в каком возврате к античности, равно как и тот гуманизм, каковым Сартр считает экзистенциализм. В названном широком смысле христианство тоже гуманизм, поскольку согласно его учению все сводится к спасению души (*salus aeterna*) человека и история человечества разворачивается в рамках истории спасения. Как бы ни были различны эти виды гуманизма по цели и обоснованию, по способу и средствам осуществления, по форме своего учения, они, однако, все сходятся на том, что *humanitas* искомого *homo humanus* определяется на фоне какого-то уже утвердившегося истолкования природы, истории, мира, мироосновы, то есть сущего в целом....

Хайдеггер М. Письмо о гуманизме // Проблема человека в западной философии. М., 1968. С. 319-320.

Макс ШЕЛЕР (1874-1928)

Если спросить образованного европейца, о чем он думает при слове "человек", то почти всегда в его сознании начнут сталкиваться три несовместимых между собой круга идей. Во-первых, это круг представлений иудейско-христианской традиции об Адаме и Еве, о творении, рае и грехопадении. Во-вторых, это грекоантичный круг представлений, в котором самосознание человека впервые в мире возвысилось до понятия

о его особом положении, о чем говорит тезис, что человек является человеком, благодаря тому, что у него есть разум, логос, фронесис, *mens*, *ratio* и т.д. (логос означает здесь и речь, и способность к постижению "чтойности" всех вещей). С этим воззрением тесно связано учение о том, что и в основе всего универсума находится надчеловеческий разум, которому причастен и человек, и только он один из всех существ. Третий круг представлений – это тоже давно ставший традиционным круг представлений современного естествознания и генетической психологии, согласно которому человек есть достаточно поздний итог развития Земли, существо, которое отличается от форм, предшествующих ему в животном мире, только степенью сложности соединения энергий и способностей, которые сами по себе уже встречаются в низшей по сравнению с человеческой природе. Между этими тремя кругами идей нет никакого единства. Таким образом, существуют естественно-научная философская и теологическая антропологии, которые не интересуются друг другом, единой же идеи человека у нас нет. Специальные науки, занимающиеся человеком и все возрастающее в своем числе, скорее скрывают сущность человека, чем раскрывают её. И если принять во внимание, что названные три традиционных круга идей ныне повсюду подорвало дарвинистское решение проблемы происхождения человека, то можно сказать, что ещё никогда в истории человек не становился настолько проблематичным для себя, как в настоящее время.

Поэтому я взялся за то, чтобы на самой широкой основе дать новый опыт философской антропологии. Ниже излагаются лишь некоторые моменты, касающиеся сущности человека в сравнении с животным и растением и особого метафизического положения человека, и сообщается небольшая часть результатов, к которым я пришел.

Уже слово и понятие "человек" содержит коварную двусмысленность, без понимания которой даже нельзя подойти к вопросу об особом положении человека. Слово это должно, во-первых, указать на особые морфологические признаки, которыми человек обладает как подгруппа рода позвоночных и млекопитающих. Само собой разумеется, что, как бы ни выглядел результат такого образования понятия, живое существо, названное человеком, не только остается подчиненным понятию животного, но и составляет сравнительную малую область животного царства. Такое положение вещей сохраняется и тогда, когда вместе с Линнеем, человека называют "вершиной позвоночных млекопитающих" – что, впрочем, весьма спорно и с точки зрения реальности, и с точки зрения понятия, – ибо ведь и это вершина, как всякая вершина какой-то вещи, относится еще к самой вещи, вершиной которой она является. Но со-

вершенно независимо от такого понятия, фиксирующего в качестве единства человека прямохождение, преобразование позвоночника, уравнивание черепа, мощное развитие человеческого мозга и преобразование органов как следствие прямохождения (например, кисть с противопоставленным большим пальцем, уменьшение челюсти и зубов и т.д.), то же самое слово "человек" обозначает в обыденном языке всех культурных народов нечто столь совершенно иное, что едва ли найдется другое слово человеческого языка, обладающее аналогичной двусмысленностью. А именно слово "человек" должно означать совокупность вещей, предельно противоположную понятию "животного вообще", в том числе всем млекопитающим и позвоночным, и противоположную им в том же самом смысле, что, например, и инфузории, хотя едва ли можно спорить, что живое существо, называемое человеком, морфологически, физиологически и психологически несравненно больше похоже на шимпанзе, чем человек и шимпанзе похожи на инфузорию.

Ясно, что это второе понятие человека должно иметь совершенно иной смысл, совершенно иное происхождение, чем первое понятие, означающее лишь малую область рода позвоночных животных. Я хочу назвать это второе понятие сущностным понятием человека, в противоположность первому понятию, относящемуся к естественной систематике.

...Возникает вопрос, имеющий решающее значение для всей нашей проблемы: если животному присущ интеллект, то отличается ли вообще человек от животного более, чем только по степени? Есть ли ещё сущностное различие? Или же помимо до сих пор рассматривавшихся сущностных ступеней в человеке есть ещё что-то совершенно иное, специфически ему присущее, что вообще не затрагивается и не исчерпывается выбором и интеллектом?..

Я утверждаю: сущность человека и то, что можно назвать его особым положением, возвышается над тем, что называют интеллектом и способностью к выбору, и не может быть достигнуто, даже если предположить, что интеллект и избирательная способность произвольно возросли до бесконечности.¹¹ Но неправильно было бы и мыслить себе то новое, что делает человека человеком, только как новую сущностную ступень психических функций и способностей, добавляющуюся к прежним психическим ступеням, — чувственному порыву, инстинкту, ассоциативной памяти, интеллекту и выбору, так что познание этих, психических функций и способностей, принадлежащих к витальной

¹¹ Между умным шимпанзе и Эдисоном, если рассматривать последнего только как техника, существует, хотя и очень большое, лишь различие в степени.

сфере, находилось бы ещё в компетенции психологии. Новый принцип, делающий человека человеком, лежит вне всего того, что в самом широком смысле с внутренне-психической или внешне-витальной стороны мы можем назвать жизнью. То, что делает человека человеком, есть принцип противоположный всей жизни вообще, он, как таковой, вообще не сводим к "естественной эволюции жизни", и если его к чему-то и можно возвести, то только к высшей основе самих вещей – к той основе, частной манифестацией которой является и "жизнь". Уже греки отстаивали такой принцип и называли его "разумом". Мы хотели бы употребить для обозначения этого X более широкое по смыслу слово, слово, которое включает в себе и понятие разума, но наряду с мышлением в идеях охватывает и определенный род созерцания, созерцание первофеноменов или сущностных содержаний, далее определенный класс эмоциональных и волевых актов, которые ещё предстоит охарактеризовать, например, доброту, любовь, раскаяние, почитание и т.д., – слово дух. Деятельный же центр, в котором дух является внутри конечных сфер бытия, мы будем называть личностью, в отличие от всех функциональных "жизненных" центров, которые при рассмотрении их с внутренней стороны, называются также "душевыми" центрами.

Но что же такое этот "дух", этот новый и столь решающий принцип? Редко с каким словом обходились так безобразно, и лишь немногие понимают под этим словом что-то определенное. Если главным в понятии духа сделать особую познавательную функцию, род знания, которое может дать только он, то тогда основным определением "духовного" существа станет его – или его бытийственного центра – экзистенциальная независимость от органического, свобода, отрешенность от принуждения и давления, от "жизни" и всего, что относится к "жизни", то есть в том числе его собственного, связанного с влечениями интеллекта. Такое "духовное" существо больше не привязано к влечениям и окружающему миру, но "свободно от окружающего мира", и, как мы будем это называть, "открыто миру". У такого существа есть "мир". Изначально данные и ему центры "сопротивления" и реакции окружающего мира, в котором экстатически растворяется животное, оно способно возвыситься до "предметов", способно в принципе постигать само так-бытие этих "предметов" без тех ограничений, которые испытывает этот предметный мир или его данность из-за витальной системы влечений и ее чувственных функций и органов чувств.

Поэтому дух есть предметность..., определимость так – бытием самих вещей... И "носителем" духа является такое существо, у которого

принципиальное обращение с действительностью вне него прямо-таки перевернуто по сравнению с животным...

Животное и слышит и видит – не зная, что оно слышит и видит, чтобы отчасти погрузиться в нормальное состояние животного, надо вспомнить о весьма редких экстатических состояниях человека – мы встречаемся с ними при спадающем гипнозе, при приеме определенных наркотиков, далее при наличии известной техники активизации духа, например во всякого рода оргиастических культах. Импульсы своих влечений животное переживает не как свои, влечения, но как динамическую тягу и отталкивание, исходящие от самих вещей окружающего мира. Даже примитивный человек, который в ряде черт еще близок животному, не говорит: "я" испытываю отвращение к этой вещи, – но говорит: это вещь – "табу". У животного нет "воли", которая существовала бы независимо от импульсов меняющихся влечений, сохраняя непрерывность при изменении психофизических состояний. Животное, так сказать, всегда попадает в какое-то другое место, чем оно первоначально "хотело". Глубоко и правильно говорит Ницше: "Человек – это животное, способное обещать"...

Только человек – поскольку он личность – может возвыситься над собой как живым существом, и, исходя из одного центра как бы по ту сторону пространственно-временного мира, сделать предметом своего познания все, в том числе и себя самого.

Но этот центр человеческих актов опредмечивания мира, своего тела и своей *psyche*¹² не может быть "частью" именно этого мира, то есть не может иметь никакого определенного "где" или "когда", – он может находиться только в высшем основании самого бытия. Таким образом, человек – это существо, превосходящее само себя и мир. В качестве такового оно способно на иронию и юмор, которые всегда включают в себя возвышение над собственным существованием. Уже И. Кант в существенных чертах прояснил в своем глубоком учении о трансцендентальной апперцепции это новое единство *coqitare*¹³ – "условие всего возможного опыта и потому также всех предметов опыта" – не только внешнего, но и того внутреннего опыта, благодаря которому нам становится доступна наша собственная внутренняя жизнь...

...Способность к разделению существования и сущности составляет основной признак человеческого духа, который только и фундирует все остальные признаки. Для человека существенно не то, что он обладает знанием, как говорил уже Лейбниц, но то, что он обладает сущностью а

¹² Душа, жизнь (греч.)

¹³ Мышления (лат.)

priori или способен овладеть ею. При этом не существует "постоянной" организации разума, как ее предполагал Кант, напротив, она принципиально подвержена историческому изменению. Постоянен только сам разум как способность образовывать и формировать – посредством функционализации таких существенных усмотрений - все новые формы мышления и созерцания, любви и оценки.

...Таким образом, человек есть то живое существо, которое может (подавляя и вытесняя импульсы собственных влечений, отказывая им в питании образами восприятия и представлениями) относиться принципиально аскетически к своей жизни, вселяющей в него ужас. По сравнению с животным, которое всегда говорит "да" действительному бытию, даже если пугается и бежит, человек – это "тот", кто может сказать "нет", "аскет жизни", вечный протестант против всякой только действительности. Одновременно, по сравнению с животным, существование которого есть воплощенное филистерство, человек – это вечный "Фауст", *beslia cupidissima rerum novarum*¹⁴, никогда не успокаивающийся на окружающей действительности, всегда стремящийся прорвать пределы своего здесь-и-теперь-так-бытия и "окружающего мира", в том числе и наличную действительность собственного Я. В этом смысле и З. Фрейд в книге "По ту сторону принципа удовольствия" усматривает в человеке "вытеснителя влечений". И лишь потому, что он таков, человек может надстроить над миром своего восприятия идеальное царство мыслей, а с другой стороны – именно благодаря этому во все большей мере доставлять живущему в нем духу дремлющую в вытесненных влечениях энергию, т.е. может сублимировать энергию своих влечений в духовную деятельность...

Задача философской антропологии – точно показать, как из основной структуры человеческого бытия, кратко обрисованной в нашем предшествующем изложении, вытекают все специфические монополии, свершения и дела человека: язык, совесть, инструменты, оружие, идеи праведного и неправедного, государство, руководство, изобразительные функции искусства, миф, религия; наука, историчность и общественность.

Шелер М. Положение человека в Космосе // Проблема человека в западной философии. М., 1988. С. 31-33, 51-54, 55-56, 50, 63-64, 65, 90.

¹⁴ Зверь, алчущий нового (лат.)

Зигмунд ФРЕЙД **(1856-1939)**

Вопрос о смысле человеческой жизни ставился бесчисленное количество раз; на этот вопрос никогда не было дано удовлетворительного ответа, и возможно, что таковой вообще заповедан. Некоторые из вопрошавших добавляли: если бы оказалось, что жизнь не имеет никакого смысла, то она потеряла бы для них и всякую ценность. Но эти угрозы ничего не меняют. Скорее можно предположить, что мы вправе уклониться от ответа на вопрос. Предпосылкой его постановки является человеческое зазнайство, со многими другими проявлениями которого мы уже сталкивались. О смысле жизни животных не говорят, разве только в связи с их назначением служить людям. Но и это толкование несостоятельно, так как человек не знает, что делать со многими животными, если не считать того, что он их описывает, классифицирует и изучает, да и то многие виды животных избежали и такого применения, так как они жили и вымерли до того, как их увидел человек. И опять-таки только религия берется ответить на этот вопрос о цели жизни. Мы едва ли ошибемся, если придем к заключению, что идея о цели жизни существует постольку, поскольку существует религиозное мировоззрение.

Поэтому мы займемся менее претенциозным вопросом: каковы смысл и цели жизни людей, если судить об этом на основании их собственного поведения: чего люди требуют от жизни и чего стремятся в ней достичь? Трудно ошибиться, отвечая на этот вопрос: люди стремятся к счастью, они хотят стать и пребывать счастливыми. Это стремление имеет две стороны, положительную и отрицательную цели: отсутствие боли и неудовольствия, с одной стороны, переживание сильных чувств наслаждения – с другой. В узком смысле слова под "счастьем" подразумевается только последнее. Сообразно этой двойственной цели человеческая деятельность протекает в двух направлениях, в зависимости от того, какую из целей - преимущественно или даже исключительно – она стремится осуществить.

Таким образом, как мы видим, жизненная цель просто определяется программой принципа наслаждения. Этот принцип главенствует в деятельности душевного аппарата с самого начала; его целенаправленность не подлежит никакому сомнению, и в то же время его программа ставит человека во враждебные отношения со всем миром, как с микрокосмосом, так и с макрокосмосом. Такая программа неосуществима, ей противодействует вся структура вселенной; можно было бы даже сказать, что в плане "творения" отсутствует намерение сделать человека "счаст-

ливым". То, что понимается под счастьем в строгом смысле этого слова, проистекает скорее из внезапного удовлетворения потребности, достигшей высокой напряженности, и по своей природе возможно лишь как эпизодическое явление¹⁵. Продолжительность ситуации, к созданию которой так страстно стремится принцип наслаждения, дает лишь чувство прохладного довольства; мы так устроены, что можем интенсивно наслаждаться только контрастом и весьма мало – самим состоянием?¹⁶ Таким образом, возможности для нашего счастья ограничены уже самой нашей структурой. Значительно менее трудно испытать несчастье. Страдания угрожают нам с трех сторон: со стороны нашего собственного тела, судьба которого – упадок и разложение, не предотвратимые даже предупредительными сигналами боли и страха; со стороны внешнего мира, который может обрушить на нас могущественные и неумолимые силы разрушения, и, наконец, со стороны наших взаимоотношений с другими людьми. Страдания, проистекающие из этого последнего источника, мы, быть может, воспринимаем более болезненно, чем любые другие; мы склонны их рассматривать как в какой-то мере излишний придаток, хотя они в меньшей степени фатальны и неотвратимы, чем страдания, проистекающие из других источников.

Не приходится этому удивляться, что, под давлением этих угрожающих людей страданий, их требования счастья становятся более умеренными; так же как и сам принцип наслаждения трансформируется под влиянием внешнего мира в более скромный принцип реальности, так и человек считает себя уже счастливым, когда ему удастся избежать несчастья, превозмочь страдания, когда вообще задача уклонения от страдания оттесняет на второй план задачу получения наслаждения... Неограниченное удовлетворение всех потребностей рисуется нам как самый заманчивый образ жизни, но это значит пренебречь осторожностью ради наслаждения, что уже быстро влечет за собой соответствующую кару. Другие методы, при которых уклонение от неудовольствия является основной целью, различаются в зависимости от источника неудовольствия, на который эти методы обращают большее внимание. Имеются способы крайние и умеренные, односторонние и такие, которые действуют сразу в нескольких направлениях. Сознательный уход от людей, одиночество – самый обычный способ защиты от страданий, возникающих от общения с людьми. Разумеется, счастье, обретаемое таким

¹⁵ На более низком уровне то же говорит Вильгельм Буш в "Набожной Елене": "У кого заботы, у того и алкоголь".

¹⁶ Гёте даже предупреждает: "Ничто нас так не тяготит, как вереница хороших дней". Тем не менее это, может быть, все же преувеличение.

путем, это счастье покоя. Если задача ставится в индивидуальном плане, от опасностей внешнего мира можно защищаться лишь тем или иным способом ухода из него. Конечно, имеется иной и лучший путь – в качестве члена человеческого общества перейти в наступление на природу и подчинить ее человеческой воле при помощи науки и создаваемой ею техники. Тогда человек действует вместе со всеми ради счастья всех. Наиболее интересными методами предотвращения страданий являются, однако, те, которыми человек пытается воздействовать на собственный организм. Ведь в конечном счете всякое страдание есть лишь ощущение и существует лишь постольку, поскольку мы его испытываем, а мы его испытываем только в силу определенного устройства нашего организма.

Самым грубым, но и самым эффективным способом является химическое воздействие, т.е. интоксикация. Я не думаю, что кто-либо полностью понял механизм этого воздействия, но факт остается фактом и заключается он в том, что существуют чуждые организму вещества, наличие которых в крови и тканях непосредственно приносит нам чувство наслаждения, а также так меняет условия нашей эмоциональной жизни, что мы становимся неспособными к восприятию неприятного. Оба эти воздействия не только происходят одновременно, они кажутся и внутренне связанными. Но вещества, создающие тот же эффект, должны существовать и в нашем собственном организме; по крайней мере при таком заболевании, как мания, наблюдается поведение как бы в состоянии дурмана, без введения в организм наркотиков.

Фрейд З. Неудовлетворенность культурой // Избранное. – Кн. 2. – М. 1990. С. 15-18.

Эрих ФРОММ
(1900-1980)

ЧЕЛОВЕК – ВОЛК ИЛИ ОВЦА?

Многие полагают, что люди – овцы, другие считают их хищными волками. Каждая из сторон может аргументировать свою точку зрения. Тот, кто считает людей овцами, может указать хотя бы на то, что они с легкостью выполняют приказы других, даже когда им самим это приносит вред. Он может также сказать, что люди снова и снова следуют за своими вождями на войну, которая не дает им ничего, кроме разрушения, что они верят любой несуровости, если она излагается с надлежащей

настойчивостью и подкрепляется властителями — от прямых угроз священников и королей до вкрадчивых голосов более или менее тайных обольстителей. Кажется, что большинство людей, как дремлющие дети, легко поддается влиянию и что они готовы безвольно следовать за любым, кто, угрожая или заискивая, достаточно упорно их уговаривает. Человек с сильными убеждениями, пренебрегающий противодействием толпы, является скорее исключением, чем правилом. Он часто вызывает восхищение последующих столетий, но, как правило, является посмешищем в глазах своих современников.

Великие инквизиторы и диктаторы основывали свои системы власти как раз на предпосылке, что люди являются овцами. Именно мнение, согласно которому люди — овцы и потому нуждаются в вождах, принимающих за них решения, нередко придавало самим вождям твердую убежденность, что они выполняли вполне моральную, хотя подчас и весьма трагичную, обязанность: принимая на себя руководство и снимая с других груз ответственности и свободы, они давали людям то, что те хотели.

Однако, если большинство людей — овцы, почему они ведут жизнь, которая этому полностью противоречит? История человечества написана кровью. Это история никогда не прекращающегося насилия, поскольку люди почти всегда подчиняли себе подобных с помощью силы. Разве Талаат-паша сам убил миллионы армян? Разве Гитлер один убил миллионы евреев? Разве Сталин один убил миллионы своих политических противников? Нет. Эти люди были не одиноки, они располагали тысячами, которые умерщвляли и пытали для них и которые делали это не просто с желанием, но даже с удовольствием. Разве мы не сталкиваемся повсюду с бесчеловечностью человека — в случае безжалостного ведения войны, в случае убийства и насилия, в случае беззастенчивой эксплуатации слабых более сильными? А как часто стоны истязаемого и страдающего создания встречают глухие уши и ожесточенные сердца! Такой мыслитель, как Гоббс, из всего этого сделал вывод: *homo homini lupus est* (человек человеку волк). И сегодня многие из нас приходят к заключению, что человек от природы является существом злым и деструктивным, что он напоминает убийцу, которого от любимого занятия может удерживать только страх перед более сильным убийцей.

И всё же аргументы обеих сторон не убеждают. Пусть мы лично и встречали некоторых потенциальных или явных убийц и садистов, которые по своей беззастенчивости могли бы тягаться со Сталиным и Гитлером, но все же это были исключения, а не правила. Неужели мы действительно должны считать, что мы сами и большинство людей —

только волки в овечьей шкуре, что наша "истинная природа" якобы проявится лишь после того, как мы отбросим сдерживающие факторы, мешавшие нам до сих пор уподобиться диким зверям? Хотя это и трудно оспорить, вполне убедительным такой ход мысли тоже не является. В повседневной жизни часто есть возможность для жестокости и садизма, причем нередко их можно проявить, не опасаясь возмездия. Тем не менее многие на это не идут, и, напротив, реагируют с отвращением, когда сталкиваются с жестокостью и садизмом.

Может быть, есть другое, лучшее объяснение этого удивительного противоречия? Может быть, ответ прост и заключается в том, что меньшинство волков живет бок о бок с большинством овец? Волки хотят убивать, овцы хотят делать то, что им приказывают. Волки заставляют овец убивать и душить, а те поступают так не потому, что это доставляет им радость, а потому, что они хотят подчиняться. Кроме того, чтобы побудить большинство овец действовать, как долки, убийцы должны придумать истории о правоте своего дела, о защите свободы, которая находится в опасности, о мести за детей, заколотых штыками, об изнасилованных женщинах и поруганной чести. Этот ответ звучит убедительно, но и после него остается много сомнений. Не означает ли он, что существуют как бы две человеческие расы – волков и овец? Кроме того, возникает вопрос: если это не в их природе, то почему овцы с такой легкостью соблазняются поведением волков, когда насилие представляют им в качестве священной обязанности. Может быть сказанное о волках и овцах не соответствует действительности? Может быть, все же правда, что важным свойством человека является нечто волчье и что большинство просто не проявляет этого открыто? А может, речь вообще не должна идти об альтернативе? Может быть, человек – это одновременно и волк и овца, или он – ни волк ни овца?

Сегодня, когда нации взвешивают возможность применения опаснейшего оружия разрушения против своих "врагов" и, очевидно, не страшатся даже собственной гибели в ходе массового уничтожения, ответ на эти вопросы имеет решающее значение. Если мы будем убеждены, что человек от природы склонен к разрушению, что потребность применять насилие коренится глубоко в его существе, то может ослабнуть наше сопротивление все возрастающей жестокости. Почему нужно сопротивляться волкам, если все мы в той или иной степени волки? Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, – это лишь заостренная формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле принадлежит к основополагающим проблемам теологического и философского мышления западного мира, а именно: является ли человек по существу злым и

порочным, или он добр по своей сути и способен к самосовершенствованию? Старый Завет не считает, что человек порочен в своей основе. Неповиновение богу со стороны Адама и Евы не рассматривается как грех. Мы нигде не находим указаний на то, что это неповиновение погубило человека. Напротив, это неповиновение является предпосылкой того, что человек осознал самого себя, что он стал способен решать свои дела. Таким образом, этот первый акт неповиновения в конечном счете является первым шагом человека по пути к свободе. Кажется, что это неповиновение было даже предусмотрено божьим планом. Согласно пророкам, именно благодаря тому, что человек был изгнан из рая, он оказался в состоянии сам формировать свою историю, развивать свои человеческие силы и в качестве полностью развитого индивида достигнуть гармонии с другими людьми и природой. Эта гармония заступила на место прежней, в которой человек еще не был индивидом. Мессиянская мысль пророков явно исходит из того, что человек в своей основе непорочен и может быть спасен помимо особого акта божьей милости.

Конечно, этим еще не сказано, что способность к добру обязательно побеждает. Если человек творит зло, то он и сам становится более дурным. Так, например, сердце фараона "ожесточилось", поскольку он постоянно творил зло. Оно ожесточилось настолько, что в определенный момент для него стало совершенно невозможно начать всё заново и покаяться в содеянном. Примеров злодеяний содержится в Старом Завете не меньше, чем примеров праведных дел, о в нем ни разу не делается исключения для таких возвышенных образов, как царь Давид. С точки зрения Старого Завета, человек способен и к хорошему, и к дурному, он должен выбирать между добром и злом, между благословением и проклятием, между жизнью и смертью. Бог никогда не вмешивается в это решение. Он помогает, посылая своих посланников, пророков, чтобы наставлять людей, таким образом они могут распознавать зло и осуществлять добро, чтобы предупреждать их и возражать им. Но после того, как это уже свершалось, человек остается наедине со своими "двумя инстинктами" – стремлением к добру и стремлением к злу, теперь он сам должен решать эту проблему.

Христианское развитие шло иначе. По мере развития христианской церкви появилась точка зрения, что неповиновение Адама было грехом, причем настолько тяжким, что он погубил природу самого Адама и всех его потомков. Теперь человек не мог больше собственными силами освободиться от этой порочности. Только акт божьей милости, появление Христа, умершего за людей, может уничтожить эту порочность и спасти тех, кто уверует в Христа.

Разумеется, догма о первородном грехе не оставалась бесповоротной внутри самой церкви. На нее нападали Пелагий, однако ему не удалось одержать верх. В период Ренессанса гуманисты внутри церкви пытались смягчить догму, хотя они прямо не боролись с ней и не оспаривали её, как это делали многие еретики. Правда, Лютер был еще более радикален в своем убеждении о врожденной подлости и порочности человека, но в то же время мыслители Ренессанса, а позднее Просвещения отважились на заметный шаг в противоположном направлении. Последние утверждали, что все зло в человеке является лишь следствием внешних обстоятельств и потому у человека в действительности нет возможности выбора. Они полагали, что необходимо лишь изменить обстоятельства, из которых произрастает зло, тогда изначальное добро в человеке проявится почти автоматически. Эта точка зрения повлияла также на мышление Маркса и его последователей. Вера в принципиальную доброту человека возникла благодаря новому самосознанию, приобретенному в ходе неслыханного со времени Ренессанса экономического и политического прогресса. Моральное банкротство Запада, начавшееся с первой мировой войной и приведшее через Гитлера и Сталина, через Ковентри и Хиросиму к нынешней подготовке всеобщего уничтожения, наоборот, повлияло на то, что снова стала сильнее подчеркиваться склонность человека к дурному. По существу, это была здоровая реакция на недооценку врожденного потенциала человека к злу. С другой стороны, слишком часто это служило причиной осмеяния тех, кто еще не потерял свою веру в человека, причем точка зрения последних понималась ложно, а подчас и намеренно искажалась...

Главной опасностью для человечества является не изверг или садист, а нормальный человек, наделенный необычайной властью. Однако, для того чтобы миллионы поставили на карту свою жизнь и стали убийцами им необходимо внушить такие чувства, как ненависть, возмущение, деструктивность и страх. Наряду с оружием эти чувства являются непременным условием для ведения войны, однако они не являются ее причиной, так же как пушки и бомбы сами по себе не являются причиной войн. Многие полагают, что атомная война в этом смысле отличается от войны традиционной. Тот, кто нажатием кнопки запускает атомные бомбы, едва ли испытывает те же чувства, что и солдат, убивающий с помощью штыка или пулемета. Но даже если запуск атомной ракеты в сознании упомянутого лица переживается только как послушное исполнение приказа, все же остается вопрос: не должны ли содержаться в более глубоких слоях его личности деструктивные им-

пульсы или, по меньшей мере, глубокое безразличие по отношению к жизни для того, чтобы подобное действие вообще стало возможным?

Я хотел бы остановиться на трех феноменах, которые, по моему мнению, лежат в основе наиболее вредной и опасной формы человеческого ориентирования: любовь к мертвому, закоренелый нарциссизм и симбиозно-инцестуальное фиксирование. Вместе взятые, эти три ориентации образуют "синдром распада", который побуждает человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти. Я хотел бы также обсудить "синдром роста", который состоит из любви к животному, любви к человеку и независимости. Лишь у немногих людей получил полное развитие один из этих двух синдромов. Однако нет сомнения в том, что каждый человек движется в определенном избранном им направлении: в направлении к живому или мертвому, добру или злу.

Фромм Э. Духовная сущность человека, способность к добру и злу // Человек и его ценности. М., 1988. С. 55-62.

Альбер КАМЮ (1913-1960)

Что же представляет собой человек бунтующий"? Это человек, говорящий "нет". Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым своим действием говорящий "да". Раб, всю жизнь исполнявший господские распоряжения, вдруг считает последнее из них неприемлемым. Каково же содержание его "нет"?

"Нет" может, например, означать: "слишком долго я терпел", "до сих пор - так уж и быть, но дальше - хватит", "вы заходите слишком далеко" и еще: "есть предел, переступить который я вам не позволю". Вообще говоря, это "нет" утверждает существование границы. Та же идея предела обнаруживается в чувстве бунтаря, что другой "слишком много на себя берет", простирает свои права дальше границы, за которой лежит область суверенных прав, ставящих преграду всякому на них посягательству. Таким образом, порыв к бунту коренится одновременно и в решительном протесте против любого вмешательства, которое воспринимается как недопустимое, и в смутной убежденности бунтаря в своей правоте, а точнее, в его уверенности, что он "вправе делать то-то и то-то". Бунта не происходит, если нет такого чувства правоты. Вот почему взбунтовавшийся раб говорит разом и "да" и "нет". Вместе с упомянутой границей он утверждает все то, что неясно чувствует в себе самом и хочет сберечь. Он упрямо доказывает, что в нем есть нечто

"стоящее" и оно нуждается в защите. Поработившему его порядку он противопоставляет своего рода право терпеть угнетение только до того предела, какой устанавливается им самим.

Вместе с отталкиванием чужеродного в любом бунте сразу происходит полное отождествление человека с определенной стороной его существа. Здесь скрытым образом вступает в игру ценностное суждение, и притом столь основательное, что оно помогает бунтарю выстоять среди опасностей. До сих пор он по крайней мере молчал, погрузившись в отчаяние, вынужденный терпеть любые условия, даже если считал их глубоко несправедливыми. Поскольку угнетаемый молчит, люди полагают, что он не рассуждает и ничего не хочет, а в некоторых случаях он и вправду ничего уже не желает. Отчаяние, как и абсурд, судит и желает всего вообще и ничего в частности. Его хорошо передает молчание. Но как только угнетаемый заговорит, пусть даже он скажет "нет", это значит, что он желает и судит. Бунтарь делает круговой поворот. Он шел, погоняемый кнутом хозяина. А теперь встает перед ним лицом к лицу. Бунтовщик противопоставляет все, что для него ценно, всему, что таковым не является. Не всякая ценность обуславливает бунт, но всякое бунтарское движение молчаливо предполагает некую ценность. О ценности ли в данном случае идет речь?

В бунтарском порыве рождается пусть и неясное, но сознание: внезапное яркое чувство того, что в человеке есть нечто такое, с чем он может отождествить себя хотя бы на время. До сих пор раб реально не ощущал этой тождественности. До своего восстания он страдал от всевозможного гнета. Нередко бывало так, что он безропотно выполнял распоряжения куда более возмутительные, чем то последнее, которое вызвало бунт. Раб терпеливо принимал эти распоряжения; в глубине души он, возможно, отвергал их, но, раз он молчал, значит, он жил своими повседневными заботами, еще не осознавая своих прав. Потеряв терпение, он теперь начинает нетерпеливо отвергать все, с чем мирился раньше. Этот порыв почти всегда имеет обратное действие. Отвергая унижительное повеление своего господина, раб вместе с тем отвергает рабство как таковое. Шаг за шагом бунт заводит его гораздо дальше, чем простое неповиновение. Он переступает даже границу, установленную им для противника, требуя теперь, чтобы с ним обращались как с равным. То, что прежде было упорным сопротивлением человека, становится всем человеком, который отождествляет себя с сопротивлением и сводится к нему. Та часть его существа, к которой он требовал уважения, теперь ему дороже всего, дороже даже самой жизни, она становится для бунтаря высшим благом. Живший дотоле каждодневными компромиссами, раб в один миг

("потому что как же иначе...") впадает в непримиримость – "все или ничего". Сознание возникает вместе с бунтом.

В этом сознании сочетаются еще довольно туманное "все" и "ничего", предполагающие, что ради "всего" можно пожертвовать и человеком. Бунтарь хочет быть или "все", целиком и полностью отождествляя себя с тем благом, которое он неожиданно осознал, и требуя, чтобы в его лице люди признавали и приветствовали это благо, или "ничем", то есть оказаться побежденным превосходящей силой. Идя до конца, восставший готов к последнему бесправью, каковым является смерть, если он будет лишен того единственного священного дара, каким, например, может стать для него свобода. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.

По мнению многих признанных авторов, ценность "чаще всего представляет собой переход от факта к праву, от желаемого к желательному (обычно через посредство желаемого всеми)"¹⁷. Как я уже показал, в бунте очевиден переход к праву. И равным образом переход от формулы "нужно было бы, чтобы это существовало" к формуле "я хочу, чтобы было так". Но, быть может еще важнее, что речь идет о переходе от индивида к благу ставшему отныне всеобщим. Вопреки ходячему мнению о бунте появление лозунга "Все или ничего" доказывает, что бунт, даже зародившийся в недрах сугубо индивидуального, ставит под сомнение само понятие индивида. Если индивид готов умереть и в определенных обстоятельствах принимает смерть в свое бунтарском порыве, он тем самым показывает, что жертвует собой во имя блага, которое, по его мнению, значит больше его собственной судьбы. Если бунтовщик готов погибнуть, только бы не лишиться защищаемого им права, то это означает, что он ценит это право выше, чем самого себя. Следовательно, он действует во имя пусть еще неясной ценности, которая, он чувствует, объединяет его со всеми остальными людьми. Очевидно утверждение, заключенное во всяком мятежном действии, простирается на нечто, превосходящее индивида в той мере, в какой это нечто избавляет его от предполагаемого одиночества и дает ему основание действовать. Но теперь уже важно отметить, что эта предсуществующая ценность, данная до всякого действия, вступает в противоречие с чисто историческими философскими учениями, согласно которым ценность завоевывается (если он, вообще может быть завоевана) лишь в результате действия. Анализ бунта приводит по меньшей мере к догадке, что человеческая природа действительно существует, соответственно представлениям древних греков и вопреки постулатам современной философии*. К чему восставать, если в тебе самом нет ничего постоян-

¹⁷ Lalande. Vocabulaire philosophique

ного, достойного того, чтобы его сберечь? Если раб восстает, то ради блага всех живущих. Ведь он полагает, что при существующем порядке вещей в нем отрицается нечто, присущее не только ему, а являющееся тем общим, в чем все люди, и даже тот, кто оскорблял и угнетал раба, имеют подготовленное сообщество¹⁸.

Такой вывод подтверждается двумя наблюдениями. Прежде всего, следует отметить, что по своей сути бунтарский порыв не является эгоистическим душевным движением. Спору нет, он может быть вызван эгоистическими причинами. Но люди восстают не только против угнетения, но и против лжи. Более того, поначалу действующий из эгоистических побуждений бунтовщик в самой глубине души ничем не дорожит, поскольку ставит на карту все. Конечно, восставший требует к себе уважения, но лишь в той мере, в какой он отождествляет себя с естественным человеческим сообществом.

Отметим еще, что бунтовщиком становится отнюдь не только сам угнетенный. Бунт может поднять и тот, кто потрясен зрелищем угнетения, жертвой которого стал другой. В таком случае он отождествляет себя с этим угнетенным. И здесь необходимо уточнить, что речь идет не о психологическом отождествлении, не о самообмане, когда человек воображает, будто оскорбляют его самого. Бывает, наоборот, что мы не в состоянии спокойно смотреть, как другие подвергаются тем оскорблениям, которые мы сами терпели бы, не протестуя. Пример этого благороднейшего движения человеческой души – самоубийства из протеста, на которые решались русские террористы на каторге, когда секли их товарищей. Речь идет и не о чувстве общности интересов. Ведь мы можем счесть возмутительной несправедливость даже по отношению к нашим противникам. Здесь происходит лишь отождествление судеб и присоединение к одной из сторон. Таким образом, сам по себе индивид вовсе не является той ценностью, которую он намерен защищать. Эту ценность составляют все люди вообще. В бунте человек, преодолевая свою ограниченность, сближается с другими, и с этой точки зрения человеческая солидарность носит метафизический характер. Речь идет попросту о солидарности, рождающейся в оковах.

Позитивный аспект ценности, предполагаемой всяким бунтом, можно уточнить, сравнив ее с чисто негативным понятием озлобленности, как его определяет Шелер³. Действительно, мятежный порыв есть нечто большее, чем акт протеста в самом сильном смысле слова. Озлобленность прекрасно определена Шелером как самоотравление, как губительная секреция затянувшегося бессилия, происходящая в закрытом

¹⁸ Общность жертв та же, что объединяет жертву и палача. Но палач этого не знает.

сосуде. Бунт, наоборот, взламывает бытие и помогает выйти за его пределы. Застойные воды он превращает в бушующие волны. Шелер сам подчеркивает пассивный характер озлобленности, отмечая, какое большое место она занимает в душевном мире женщины, чья участь - быть объектом желания и обладания. Источником бунта, напротив, являются переизбыток энергии и жажда деятельности. Шелер прав, говоря, что озлобленность ярко окрашена завистью. Но завидуют тому, чем не обладают. Восставший же защищает себя, каков он есть. Он требует не только блага, которым не обладает или которого его могут лишить. Он добивается признания того, что в нем уже есть и что он сам почти во всех случаях признал более значимым, чем предмет вероятной зависти. Бунт не реалистичен. По Шелеру, озлобленность сильной души превращается в карьеризм, а слабой - в горечь. Но в любом случае речь идет о том, чтобы стать не тем, что ты есть. Озлобленность всегда обращена против ее носителя. Бунтующий человек, напротив, в своем первом порыве протестует против посягательств на себя, каков он есть. Он борется за целостность своей личности. Он стремится поначалу не столько одержать верх, сколько заставить уважать себя.

Камю А. Бунтующий человек. Философия, политика, искусство. М. 1990. С. 127-130.

Жан-Поль САРТР (1905-1980)

...По появлении человека среди бытия, его "облекающего", открывается мир. Но исходный и существенный момент этого появления - отрицание. Так мы добрались до первого рубежа нашего исследования: человек есть бытие, благодаря которому возникает ничто. Но вслед за этим ответом тотчас возникает другой вопрос: что такое человек в его бытии, если через человека в бытие происходит ничто?

Бытие может порождать лишь бытие, и если человек включен в этот процесс порождения, выйти из него он может, лишь выходя за пределы бытия. Коль скоро человек способен вопрошать об этом процессе, то есть ставить его под вопрос, предполагается, что он может обозреть его как совокупность, то есть выводить самого себя за пределы бытия, ослабляя вместе с тем структуру бытия. Однако человеческой реальности не дано нигилировать (neantir)¹⁹ массу бытия, ей предстояще-

¹⁹ Neantir - слово, введенное автором "Бытия и ничто". "Нигилировать" значит заключать

го, пусть даже временно. Человеческой реальности дано лишь видоизменять свое отношение с этим бытием. Для нее выключить из обращения то или иное существующее – значит выключить саму себя из обращения по отношению к этому существующему. В таком случае она выскальзывает из существующего, становится для него недостижимой, не зависимой от его воздействия, она отступила по ту сторону ничто. Декарт, вслед за стоиками, назвал эту способность человека – способность выделять ничто, его обособляющее, – свободой. Но "свобода" пока что только слово. Если мы хотим проникнуть в проблему дальше, нельзя удовлетвориться этим ответом, теперь следует задаться вопросом: что такое свобода человека, если путем ее порождается ничто?..

...Свобода не может быть понята и описана как обособленная способность человеческой души. Мы старались определить человека как бытие, обуславливающее появление ничто, и это бытие явилось нам как свобода. Таким образом, свобода – как условие, необходимое для нигилирования ничто, – не может быть отнесена к числу свойств, характеризующих сущность бытия человека. Выше мы уже отмечали, что существование человека относится к его сущности иначе, чем существование вещей мира – к их сущности. Свобода человека предшествует его сущности, она есть условие, благодаря которому последняя становится возможной, сущность бытия человека подвешена в его свободе. Итак, то, что мы называем свободой, неотличимо от бытия "человеческой реальности". О человеке нельзя сказать, что он сначала есть, а затем – он свободен; между бытием человека и его "свободобытием" нет разницы.

Сартр Ж. П. Бытие и ничто (извлечения) // Человек и его ценности. Ч. I. М., 1988. С. 98-99.

Йохан ХЕЙЗИНГА (1872-1945)

Игра и правосудие

Судебный процесс так состязание. – Игровое пространство и суд. Правосудие и спорт. – Правосудие, оракул, азартная игра. – Пред-

что-то в оболочку небытия. "Нигилирование", по Сартру – отличительная особенность существования сознания, "человеческой реальности": сознание существует как сознание, постоянно выделяя ничто между собой и своим объектом. Слово "нигилирование" представляется нам более точным, нежели переводы-кальки типа "неантизация".

сказатель судьбы. – Весы правосудия. – Dikē. – Жребий и шанс. – "Божий суд". – Состязание в доказательство правоты. – Состязание ради невесты. – Судопроизводство и спор об заклад. Судебный процесс как словесный поединок. – Эскимосское состязание на барабанах. – Правосудие в форме игры. – Состязание в хуле и защитительная речь. – Древние формы защитительной речи. Ее бесспорно игровой характер.

На первый взгляд сфера права, закона и правосудия отстоит очень далеко от сферы игры. Во всяком случае, святая серьезность и животрепещущий (*vital*) интерес отдельного человека и сообщества главенствуют во всем, что относится к праву и правосудию. Этимологическая основа для словесного выражения понятий "право", "справедливость", "закон" лежит преимущественно в области установления, констатации, указания, соблюдения, предположения, порядка, выбора, распределения, сохранения правоты, возложения обязанности, обыкновения, очевидности. Все это суть понятия, которые так или иначе противопоставляются семантической сфере игры. Однако ранее мы уже неоднократно убеждались, что сакральный и серьезный характер деятельности ни в коей мере не исключает игрового содержания.

Возможность родственных уз между правом и игрой становится явью, как только мы замечаем, что практическому отправлению права, иначе говоря, судопроизводству, каковы бы ни были идеальные основы права – в высокой степени присущ характер состязания. Связь между состязанием и генезисом права уже отмечалась выше, в описании потлача у Дави, который им рассматривается, однако всецело под углом зрения истории права, как изначальная форма примитивной системы соглашения и обязательство сторон. Судебный спор сторон греки считали разновидностью агона, связанного жестокими правилами состязания, протекающего в освященных формах, где две противные партии взывают к решению третейского судьи. Не следует усматривать в данной концепции судебного процесса как состязания некое позднейшее образование, перенос понятий, тем более признаки перерождения, как склонен делать это Эренберг. Напротив, именно из агональной сущности правового спора проистекает все дальнейшее развитие, и этот состязательный характер продолжает жить в нем и поныне.

Кто говорит "состязание", говорит "игра". Ранее мы уже видели, что нет достаточных оснований отказывать в игровом характере любому состязанию. И игровые качества, и состязательные – оба "поднятые" в сферу освященности, которой требует для своего правосудия любое общество – по сей день сквозят в самых различных формах правовой

жизни. Правосудие совершается в некоем "дворе". Этот "двор", как и прежде, еще остается в полном смысле слова., "священным кругом", в котором восседали судьи, как это можно было видеть на щите Ахилла. Любое место, где свершается правосудие, есть настоящее *temenos*, "священное место", оно отгорожено от повседневной жизни, как бы выключено из нее. Судьей вначале, стало быть, призывают, а потом заклинают. Это настоящий магический круг, игровое пространство, в котором временно упраздняется привычное социальное подразделение людей. Эти люди на время становятся выше критики, неприкосновенными. Прежде чем Локк начал свое состязание в хуле, он удостоверился, что выбранное им место было "великим местом мира". Английская палата лордов и ныне остается, по сути дела, судебным двором, отсюда этот *woolsack* – набитый шерстью мешок, на котором восседает лорд-канцлер, хотя этому мешку, собственно, нечего там делать и он считается "technically outside the precincts of the House" ("формально вне пределов палаты").

Судьи и в наши дни, прежде чем приступить к отправлению правосудия, выходят за рамки "обыденной" жизни: облачаются в мантию или хотя бы надевают парик. Исследовал ли кто-нибудь этот костюм английских правоведов с точки зрения этнологической? Мне представляется, что с модой на парики, бытовавшей в XVII и XVIII веках, сей обычай связан не в первую очередь. Собственно говоря, *wig* (клин) есть продолжение старого атрибута правоведов Англии – *coif*, плотно облегающей белой шапочки, которую и поныне имитирует белый краешек, выглядывающий наружу из-под парика. Но и сам судебский парик представляет собой больше, чем просто реликт старинного церемониального облачения. По своей функции он может быть поставлен рядом с примитивными танцевальными масками первобытных племен. Парик, так же как и маска, делает человека "другим", "не этим". Британский мир с его всегдашним почтением к традиции сохраняет в своем правосознании и другие стародавние черты. Элементы спорта и юмора, которые в судопроизводстве у британцев особенно распространены, вообще принадлежат к фундаментальным чертам всей правовой практики. В самом деле, эти черты не выветрились даже из сознания нидерландской нации. "Be a good sport" ("Будьте же спортивным"), – говаривал американский бутлегер в дни сухого закона таможенному чиновнику, составляющему на него протокол. Нидерландец точно так же требует от юстиции "спортивного поведения". Британский контрабандист, представ перед судом по обвинению в преднамеренной попытке задавить полицей-

ского на своем автомобиле, заявляет: "Чтобы избежать наезда, я вывернул налево".

Полицейский это отрицает.

Обвиняемый: "Ну, будьте же честным и спортивным..."

Один отставной судья мне писал: "Стиль и содержание наших судебных дел обнаруживают, с каким спортивным подчас наслаждением наши адвокаты засыпают друг друга аргументами и контраргументами, к тому же весьма софистическими, так что ход их мысли как-то однажды вдруг напомнил мне о вершителях мусульманского "адата", которые отмечали каждый аргумент сторон втыкаемой в землю палочкой, чтобы затем присудить победу в судебной тяжбе тому, за кого будет выставлено больше палочек". С особой живостью вырисовывается игровой характер правосудия в картине судебного заседания в венецианском Дворце дождей, которую дает Гете в "Итальянском путешествии" (запись от 3 октября).

Эти беглые замечания до некоторой степени подготавливают мысль о сущностной взаимосвязи правосудия и игры. Для развития этой мысли вернемся к архаическим формам судопроизводства. В процедуре, разыгрывающейся перед лицом судьи, во все времена и при любых обстоятельствах так сильно и так остро и так абсолютно категорически стоял вопрос о выигрыше, что агональный элемент нельзя исключить из нее ни на минуту. При этом система ограничительных правил, постоянно регулирующая это состязание, перемещает его по форме целиком и полностью в план хорошо организованной, упорядоченной антитетической игры. Вся действительная взаимосвязь игры и права в архаических культурах подчиняется троякому принципу классификации: суд как азартная игра, суд как состязание, суд как словесный поединок.

Судебная тяжба есть борьба, спор о справедливости и несправедливости, вине и невиновности, о победе и поражении. Если мы обратим свой взор назад, с правосознания высокоразвитых цивилизаций на правовые представления ранних стадий общества, то увидим, что идея о выигрыше и поражении, то есть чисто агональная идея, как затмевает идею вины и невиновности, то есть этико-юридическую. Элемент счастливого случая, удачи, шанса, а значит и непосредственно элемент игры, выходит на первый план тем решительнее, чем дальше уходим мы в глубь веков, ко все более примитивному правосознанию. Перед ними словно разворачивается картина мышления, где понятия о решении, вынесенном по совету оракула, воле богов, жребию, то есть на основе игры (ибо вся непреложность решения опирается только лишь на пра-

вила игры) и на основе правосудия, еще не расчленены и составляют тот единый комплекс.

Волю небесных властей, то есть то, что сулит ближайшее будущее, то есть грядущую судьбу, пытаются выведать, побуждая их как-то высказаться. Решение оракула угадывают, испытывая неверный шанс. Тянут палочки, бросают камушки, наугад раскрывают страницы священной книги. Такова, например, заповедь об *urim* и *tummim* в библейской Книге Исхода (гл. 28, ст. 30), чем бы эти предметы ни были, которые следует положить в наперсник судный, носимый первосвященником возле сердца, и у которых спрашивает совета первосвященник Элеазар в Книге Чисел (гл. 27, ст. 21). Так же Саул в Первой книге пророка Самуила (гл. 14, ст. 42) приказывает бросить жребий между собой и сыном Ионафаном. Взаимосвязь между оракулом, азартной игрой и судом проявляется уже здесь со всей возможной ясностью. Подобного рода гадания о судьбе знает и древнеаравское язычество. И разве не тому же самому служат священные весы, на которых Зевс в "Илиаде" взвешивает смертные судьбы людей, прежде чем разражается война?

"Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долги: Жребий троян конеборных и меднооружных данаев; Взял посредине и поднял..."

Это взвешивание на весах есть Зевсово судилище... Здесь смешаны воедино представления о божьей воле, роке и счастливом жребии. Весы (*weegschaal*) правосудия – ибо наверняка эта метаформа идет от гомеровского образа – суть баланс, равновесие (*waagschal*) неверных шансов удачи и неудач. Об освящении нравственной истины, о представлении, что правота весит больше, чем неправота, тут еще и речи нет.

Среди фигур на щите Ахилла, как это изображает восемнадцатая книга "Илиады", есть и судьи, расположившиеся в священном кругу вершить суд. Посередине круга лежат... (*duo crusoio talanta*) (два таланта золота), которые должны достаться тому, чей приговор... справедливее. Стало быть, два золотых таланта – вот та сумма, из-за которой тяготеют стороны, хотя это больше похоже на ставку или приз, нежели на предмет судебного разбирательства. Первоначально слово *talanta* обозначало сами весы. Не уместно ли было бы допустить, что поэт имел здесь в виду картину суда, где, согласно древнему обычаю, буквально взвешивались на весах правота и неправота, и что более не сознавая смысла этого древнего рассказа, поэт истолковывал *talanta* как деньги?

Греческое понятие... (*dikē*) "право" имеет целую шкалу значений – от чисто абстрактного до более конкретного. Помимо права как абстрактного понятия оно может также значить некое возмещение ущерба

или причитающуюся долю; стороны отдают и принимают dikē, судья присуждает dikē. Понятие это равным образом включает в себя сам судебный процесс, приговор и кару. По утверждению Вернера Егера, в этом случае – в виде исключения – конкретное значение следует считать производным от абстрактного. Этому противоречит то обстоятельство, что именно абстрактные значения... (dikaíos) "справедливы" и... (dikaiosune) "справедливость" образовались от dikē лишь в более поздний исторический период. Рассмотренная выше связь между правосудием и испытанием судьбы с помощью жребия побуждает нас все же отдать предпочтение отвергнутой Егером этимологии, которая выводит δίκη (dikē) из δίζησκ "бросать", хотя едва ли можно сомневаться в связи dikē с δειῖνκοιζ. Этимологическая связь между словами "право" и "бросать", похоже, существует и в древнееврейском, где слово, обозначающее "бросать закон и право", "тора", и основа слова, означающего "бросать жребий, стрелять, вопрошать оракул", выказывают несомненное родство. Очевидно особенное значение того факта, что на древнегреческих монетах изображение Dike совпадает с Tychē – неверной фортунной. У этой богини тоже в руках весы. "It is not, – говорит мисс Харрисон, that there is a late "syncretism" of these divine figures; they start from one conception. ("Разве тут перед нами позднейший "синкретизм" этих божественных фигур? Они вышли из одной и той же концепции, а потом дифференцировались".)

Первобытная связь права, жребия и азартной игры различным образом прослеживается и в традиции германских народов. Так, в нидерландском языке и по сегодняшний день слово "lot" в одно и то же время значит и удел, определенный человеку на будущее, то, что ему "уделено", "beschikt is" (Schicksal), и знак, символ его удачи, шанса, например, самая длинная либо самая короткая спичка, лотерейный билет. Едва ли можно распознать, которое из обоих значений старше: в архаическом мышлении оба понятия сливались воедино. Зевс держит весы божественного суда, асы решают судьбу мира, бросая игральные кости. "Божий суд" вершится через исход состязаний в силе либо вооруженного единоборства так же, как через случайно выпавшие игровые символы. Не без оснований, коренящихся глубоко в прошлом и в человеческой душе, еще и в наши дни гадают о будущем на картах. Спор с оружием в руках порой сопровождается игрой в кости. Когда герулы бьются с лангобардами, их король сидит за игровой доской. Подобным же образом играют в кости в шатре короля Теодерика при Кьерси.

Трудно найти точное определение тому, как толковался "промысел божий" у тех народов, которые пользовались этим понятием. На первый

взгляд может показаться, что люди верили, будто через исход испытания или жребий боги дают знать, на чьей стороне правда или в каком направлении указывает их воля. Но не есть ли это уже знакомая интерпретация, возникшая на более поздней исторической стадии? Не является ли здесь основой и началом само состязание, игра на выигрыш? Исход азартной игры, испытание своей удачи само по себе есть священное произволение. Он и есть то же самое, чего регламент требует до сих пор: если голоса выпадают поровну, то решает жребий. Только на продвинутой фазе религиозного выражения рождается формулировка: истина и справедливость проявляются открыто, когда божество направляет своей рукой падение игральных костей или приводит к победе в вооруженном поединке одну из сторон. Когда Эренберг говорит: "Из божьего промысла вырастает светский суд", — мне представляется в этом высказывании целая вереница образов, не имеющая исторической логики. Скорее это должно звучать так. Судопроизводство и "промысел божий" коренятся вместе в практике агонального решения споров вообще, будь то жребий или испытание силы. Единоборство до победы или поражения само по себе имеет священный характер. Если оно вдохновлено четко сформулированными понятиями справедливости и несправедливости, то тем самым оно поднимается в сферу права; если же оно рассматривается в свете позитивных представлений о могуществе господнем, то оно поднимается в сферу религии. Первичным, однако, во всем этом является игра.

Правовой спор — это состязание, нередко в виде бега вразнос, либо пари. В наши рассуждения все чаще проникает термин "wedde", "приз", "вознаграждение". Потlach создает примитивную систему юридических отношений. Вызов влечет за собой мировую. Независимо от потлacha и "промысла божьего" можно в самых различных архаических обычаях правового характера обнаружить состязательную борьбу за право, то есть ради решения и признания в конкретном случае стабильного порядка отношений. В свое время Отто Гирке, не вдаваясь в комментарии, собрал и обобщил богатый материал на эту тему под заглавием "Юмор и право", и если рассматривать этот материал как свободную игру народного духа, то верное объяснение он находит в агональных первоисточниках правосознания. Да, игра народного духа, но в более глубоком смысле, чем предполагал Гирке, и полная серьезного значения. Так, например, согласно древнегерманским правовым обычаям, границу марки или земельного надела определяли состязанием в беге или метании топора. Или же право на владение открывалось благодаря тому, что человеку завязывали глаза и он касался ладонью другого человека или

предмета; по другому обычаю крутили и катали яйцо. Все эти случаи подпадают под принцип определения правоты состязанием в силе и либо в игре на удачу. В арабском языке слово "qara", означающее "заклад", появилось от корня, означающего жеребьевку или выигрыш при игре в кости либо при стрельбе в цель.

Никак нельзя считать случайностью, что состязание занимает особенно важное место при выборе невесты или жениха. За английским словом "wedding" ("заключение брака") скрывается столь же давняя история культуры и права, как и за нидерландским словом того же значения "bruiloft". Первое говорит о wedde, символическом закладе, которым обязывают себя блюсти принятые новые обязанности (такое же слово wedden – жениться – сохранилось в средненидерландском). Bruiloft свидетельствует с loor, то есть беге-состязании ради невесты, которое могло быть испытанием или одним из испытаний, предшествующих заключению брачного союза (нидерландскому "bruiloft" соответствует также англосаксонское "brýðhléáp", древнеисландское "bruðhlaup", древневерхненемецкое "brütlouft"). Данаиды достались своим женихам после такого состязания в беге, и пример этот находил подражание еще в историческую эпоху. О таком же состязательном беге говорится в случае Пенелопы, и тут не так уж важно, сага или миф донесли до наших дней сведения об этом обычае или же есть свидетельства, что оно бытовало в реальной обстановке. Главное здесь, что существовала сама идея состязания в беге ради невесты. Бракосочетание... контракт-состязание, по выражению этнолога. "Махабхарата" описывает состязание в силе, которое надлежит провести женихам Драупади, "Рамаяна" – подобное же состязание ради Ситы, "Песнь о Нибелунгах" – состязание в силе ради Брюнхильды.

Но не одни лишь состязания в силе и храбрости приходилось выигрывать жениху, чтобы завоевать руку невесты. Порой испытывались его смекалка и ум, для чего приходилось отвечать на трудные вопросы. В описании праздничных игр юношей и девушек Аннама, которое делает Нгуен Ван Гуен, большое место занимает состязание в знании и находчивости. Иногда это настоящий экзамен, которому девушка подвергает юношу. В эддической традиции встречается, хотя и в несколько смещенной форме, испытание ума ради невесты в "Речах Альвиса", когда Тор обещает всеведущему карлику свою дочь, если тот в ответ на его вопросы назовет тайные имена вещей. (В "Fjölsvinnsmál" ("Речах Фьёльсвинна") этот мотив смещен еще дальше: вступивший в опасное соперничество ради невесты задает вопросы великану, охраняющему деву".)

От состязания мы переходим теперь к обычаю биться об заклад, который в свою очередь тесно связан с обетом. Элемент пари выражается в судебной процедуре двояким образом. Первый таков. Главное действующее лицо бьется об заклад в доказательство своей правоты, то есть он вызывает противника оспорить его правоту, выставляя заклад – *wedde, gage, vadium*. Английское право знало еще вплоть до XIX века включительно две формы судебной процедуры в гражданских делах, которые назывались "*Wager*", буквально "спор об заклад", или "пари" – *wager of battle* (пари битвы), при котором одна из сторон предлагала судебный поединок для установления правоты, и *wager of law* (пари закона), когда стороны обязывались в определенный день принести клятву в невиновности. Хотя они уже раньше вышли из употребления, официально их отменили только в 1819 и в 1833 годах. Хотя уже само судебное разбирательство носит характер спора, пари, к нему близок обычай, когда зрители заключают пари о том, чем же кончится суд, пари в том самом смысле слова, который мы ему обычно придаем. Пари об исходе судебного процесса, как мне кажется, все еще бытует в Англии. Когда Анна Болейн и ее приближенные вместе стояли перед судом, то под впечатлением умной защитительной речи ее брата Рошфора в Тауэр-холле присутствующие ставили десять против одного за его (*zijn*) оправдание. В Абиссинии было обыкновением в промежуток времени между речью адвоката и допросом свидетелей заключать пари, какой приговор вынесет суд в конце судебного заседания. Мы различаем три игровые формы судопроизводства: азартная игра (*kansspel*), состязание или спор об заклад, пари или словесный поединок. Этот последний служит синонимом судебной тяжбы уже по самой ее природе и даже после того, как с поступательным развитием культуры он утрачивает полностью или частично, по видимости либо в самом деле свое игровое качество. По теме нашего рассуждения мы, однако, имеем дело только с архаической фазой этого словесного поединка, когда исход спора решают не самые точные и взвешенные юридические аргументы, а самые резкие и самые меткие ругательства и оскорбления. Агон здесь почти целиком исчерпывается стремлением превзойти друг друга в самых изысканных филиппиках и поношениях. О состязании в хуле как таковом, как социальном феномене, ради чести и престижа речь уже шла выше, когда мы говорили о *progos, iambos, mofakhara* и т.д. Не существует четкого перехода от *joute de jastance* (состязание в похвальбе) как такового к состязанию в хуле как судебной тяжбе. Это должно окончательно проясниться, после того как мы обстоятельно рассмотрим один из самых замечательных доводов в пользу взаимосвязи игры и культу-

ры, а именно состязания в барабанной игре, или песенные поединки гренландских эскимосов. В этом живущем или по крайней существовавшем до недавнего времени обычае мы имеем тот самый случай, когда функция культуры, которую мы называем правосудием, еще не высвободилась до конца из игровой сферы и природы игры.

Если один эскимос имеет претензии к другому, то он вызывает обидчика состязаться в игре на барабане или в пении (*trommesang, drum-match, drum-dance, song-contest*). Племя или клан собирается на праздничную сходку, все нарядно одеты и в приподнятом настроении. Оба противника поют друг другу поочередно бранные песни под аккомпанемент барабана, в которых упрекают один другого в совершенных поступках. При этом не делается различия между обоснованными обвинениями, подымающей на смех сатирой и низкой клеветой, один исполнитель перечислил всех соплеменников, которых в голодное время съели жена и теща его противника, так что охваченная состраданием аудитория разразилась слезами. Песенный диалог сопровождается физическими оскорблениями, даже муками: один дышит и фыркает другому в лицо, бодает, раздвигает ему челюсти, привязывает к палаточной жерди, и все это "обвиняемый" должен сносить абсолютно невозмутимо, даже с насмешливой улыбкой. Собравшиеся подхватывают хором припевы песен, хлопают в ладоши и подстрекают состязающихся. Некоторые из присутствующих спокойно дремлют. Во время передышек оба противника обращаются друг с другом как хорошие друзья. Сеансы такого состязания иной раз продолжаются годами; обе стороны придумывают все новые песни, обвиняют друг друга во все новых прегрешениях. В конце концов собрание зрителей решает, кого следует признать победителем. Вслед за этим в ряде случаев дружба враждующих сторон восстанавливается, но бывает и так, что одна из семей после пережитого позора покидает стойбище. Один и тот же человек может участвовать параллельно в нескольких состязаниях подобного рода. Такое же право имеют и женщины. Особое значение имеет здесь тот факт, что эти поединки для тех племен, где они культивируются, играют роль судбища. Иной формы правосудия, кроме этих барабанных боев, племена не ведают. Это единственный способ улаживать споры. Другого пути формирования общественного мнения просто нет. Даже убийства выявляются в этой форме. После исхода песенной баталии никаких официальных решений не выносятся. Поводом для таких состязаний чаще всего бывают проблемы с женщинами. Следует, однако, делать различие между племенами, которые относятся к этому обычаю как к правовому явлению, и теми, для кого это не более чем праздничное увеселение. В

разных случаях допускаются различные формы физического насилия: привязывание к столбу, побои и др. Наряду с песенным турниром иногда для улаживания конфликта служит кулачный бой или борьба.

Итак, мы имеем здесь дело с культурной практикой, которая выполняет функцию права в законченной агональной форме и одновременно в самом подлинном смысле слова является игрой. Все разыгрывается со смехом и весельем. Задача этого действия – развлечь слушателей. "К следующему разу, – говорит Игшявик, – я придумаю новую песню. Она будет особенно смешной, этой песней я пригвозжу противника к позорному столбу". Барабанные поединки составляют главное развлечение в общинной жизни. Если нет спора, то такую дуэль начинают потехи ради. Особое искусство при этом – петь загадками.

Не очень далеко от состязаний на барабанах располагаются комические, с элементами сатиры и юмора, судебные заседания, созываемые в ряде германских стран для наказания за всякие провинности, особенно сексуальные. Эти народные обычаи (самый известный – *Haberfeldtreiden* – изгнание в овсяное поле) разыгрываются как настоящий фарс, но порой тем не менее принимаются вполне серьезно, как, например, "*Sau-gericht*" (свиной суд) молодых людей в Рапперсвиле, на решения которого можно было апеллировать в Малый совет.

Нет сомнения, что барабанные бои эскимосов принадлежат к той же сфере, что и потлач, что и древнеарабские состязания в хуле и похвальбе, что и китайские баталии, что и древнеисландские *mannjafnaðr* и *niðsang*, буквально "враждебные песни", которыми преследовалась цель обесчестить врага (*nið* означает вражду, а не зависть, как голландские *nijd*). Равным образом представляется очевидным, что эта сфера не является сферой, во всяком случае в своих истоках, компетенции "промысла божьего" в собственном смысле. Понятие приговора божественных сил по поводу абстрактной истины или справедливости, возможно, лишь во вторую очередь связано с подобными действиями, первично же здесь агональное решение как таковое, то есть решение о серьезных вещах в игре и через игру. Особенно приближается к эскимосскому обычаю арабский *nifār*, или *monāfara*, состязание ради славы и чести, разыгрываемое перед третейским судьей. Под этим же углом зрения следует понимать и латинское слово *iurgium*, *iurgo*. Оно возникло из формы *iūsigium*, буквально "ведение спора", от *ius* и *agere*, то есть "отправление права", что сравнимо с *Litigium*, *Lurgium*, означает как "процесс", "процедуру", так и "поношение", "словесный поединок", "перепалку, ругань" и указывает на фазу, в которой правовое состязание еще остается в основном состязанием в хуле. В свете эскимосских барабан-

ных поединков нам становится понятной и фигура Архилоха, чьи песни против Ликамба обнаруживают с ними известное сходство. Под этим углом зрения мы можем на расстоянии рассматривать даже увещания и упреки Гесиода по адресу его брата Перса, Егер указывает на то, что греческая публичная сатира была отнюдь не только назидательной проповедью или служила инструментом личных интриг, но первоначально выполняла и социальную функцию. Можно смело сказать – функцию эскимосского состязания на барабанах.

Фаза, на которой защитительную речь и состязание в хуле невозможно разделить, тогда в классической культуре не совсем еще миновала. Судебное ораторское искусство в Афинской республике эпохи расцвета еще целиком находилось под знаком состязания в риторической искусности, при котором разрешались любые уловки и средства убеждения публики. Судбище и политическая трибуна почитались местом, где искусство убеждать было в своей стихии. Это искусство, вместе с наличием войны, грабежа или тирании представляло собой ту "охоту на человека", которой пытаются дать определение собеседники в платоновском диалоге "Софист". Софисты обучали за деньги, как можно выставить слабое дело с сильной стороны. Молодые политики нередко начинали свою карьеру с обвинительных речей в скандальных процессах.

В древнем Риме тоже долгое время любые средства были хороши, чтобы одолеть в суде противную сторону. Истец облачался в траурные одежды, вздыхал, стenal, громогласно ссылаясь на благо государства, приводил с собой в суд как можно больше клиентов, дабы усугубить впечатление, одним словом, делал все то, что еще делается порой и в наше время. Стойки пытались изгнать из судебной элоквенции этот игровой характер и привести его в соответствие со своими строгими нормами истины и достоинства. Но первый, кто хотел внедрить в практику эти новые взгляды, Рутилий Руф, свое дело проиграл и вынужден был отправиться в изгнание.

Й. Хейзинга. Homo Ludens. М., 1992. – С. 93-105.

9. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

Русская философия – органическая часть мировой философии и культуры. Вместе с тем она очень самобытна. Освоение её духовного богатства – важнейшее условие возрождения России. Корни многих явлений нашей жизни – и позитивных, и негативных – уходят в толщу веков, в систему мирозерцания наших предков. Изучение работ русских философов, писателей, ученых, публицистов позволяет понять особенности русской духовности, национального характера, исторического пути России. Искания нравственной правды и смысла жизни проходят через все произведения мыслителей. И хотя русская философия характеризуется связью с религиозным мировоззрением, главной ее чертой является антропоцентричность: человек, его пути и судьбы – центральная проблема.

***Задание.** Прочитайте представленные фрагменты работ русских мыслителей. Задумайтесь над поднимаемыми в них вопросами.*

Для лучшего понимания философских взглядов Ф.М. Достоевского ответьте на вопросы:

- 1. Можно ли рассматривать Легенду о Великом Инквизиторе как исповедь Инквизитора?*
- 2. Свобода – это дар или наказание?*
- 3. Зачем грехи человеческие нужны Инквизитору и немногим избранным? Почему они разрешают «подлым людишкам» грех?*
- 4. Какую тайну открывает Инквизитор, что произошло 8 веков назад в Европе?*
- 5. Почему Христос так и не произносит ни слова?*
- 6. Верит ли Инквизитор в Бога?*

Фёдор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ
(1821-1881)

Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: роман – М., 2004.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Книга первая. Глава V

СТАРЦЫ

«...» Не чудеса склоняют реалиста к вере. Истинный реалист, если он не верующий, всегда найдет в себе силу и способность не поверить и чуду, а если чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. Если же и допустит его, то допустит как факт естественный, но доселе лишь бывший ему неизвестным. В реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему должен непременно допустить и чудо. Апостол Фома объявил, что не поверит, прежде чем не увидит, а когда увидел, сказал: «Господь мой и Бог мой!» Чудо ли заставило его уверовать? Вероятнее всего, что нет, а уверовал он лишь единственно потому, что желал уверовать и, может быть, уже веровал вполне, в тайнике существа своего, даже еще тогда, когда произносил: «Не поверю, пока не увижу».

Скажут, может быть, что Алеша был туп, неразвит, не кончил курса и проч. Что он не кончил курса, это была правда, но сказать, что он был туп или глуп, было бы большою несправедливостью. Просто повторю, что сказал уже выше: вступил он на эту дорогу потому только, что в то время она одна поразила его и представила ему разом весь идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его. (Стр. 28-29)

«...» Алеше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. Сказано: «Раздай всё и иди за мной, если хочешь быть совершен». Алеша и сказал себе: «Не могу я отдать вместо „всего“ два рубля, а вместо „иди за мной“ ходить лишь к обедне». Из воспоминаний его младенчества, может быть, сохранилось нечто о нашем подгородном монастыре, куда могла возить его мать к обедне. Может быть, действовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его протягивала его кликуша-мать. Задумчивый он приехал к нам тогда, может быть, только лишь посмотреть: всё ли тут или и тут только два рубля, и – в монастыре встретил этого старца...

Старец этот, как я уже объяснил выше, был старец Зосима; но надо бы здесь сказать несколько слов и о том, что такое вообще «старцы» в

наших монастырях, и вот жаль, что чувствую себя на этой дороге не довольно компетентным и твердым. (Стр. 29).

«...» Итак, что же такое старец? Старец – это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли. Изобретение это, то есть старчество, – не теоретическое, а выведено на Востоке из практики, в наше время уже тысячелетней. Обязанности к старцу не то, что обыкновенное «послушание», всегда бывшее и в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвизающихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. (Стр. 30).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Книга вторая. Глава IV

МАЛОВЕРНАЯ ДАМА

«...» О, если уж вы были так добры, что допустили нас сегодня еще раз вас видеть, то выслушайте всё, что я вам прошлый раз не договорила, не посмела сказать, всё, чем я так страдаю, и так давно, давно! Я страдаю, простите меня, я страдаю... – И она в каком-то горячем порывистом чувстве сложила пред ним руки.

– Чем же особенно?

– Я страдаю... неверием...

– В Бога неверием?

– О нет, нет, я не смею и подумать об этом, но будущая жизнь – это такая загадка! И никто-то, ведь никто на нее не отвечает! Послушайте, вы целитель, вы знаток души человеческой; я, конечно, не смею претендовать на то, чтобы вы мне совершенно верили, но уверяю вас самым великим словом, что я не из легкомыслия теперь говорю, что мысль эта о будущей загробной жизни до страдания волнует меня, до ужаса и испуга... И я не знаю, к кому обратиться, я не смела всю жизнь... И вот я теперь осмеливаюсь обратиться к вам... О Боже, за какую вы меня теперь сочтете! – Она всплеснула руками.

– Не беспокойтесь о моем мнении, – ответил старец. – Я вполне верую в искренность вашей тоски.

– О, как я вам благодарна! Видите, я закрываю глаза и думаю: если все веруют, то откуда взялось это? А тут уверяют, что все это взялось сначала от страха пред грозными явлениями природы и что всего этого нет. Ну что, думаю, я всю жизнь верила – умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя. Это ужасно! Чем, чем возратить веру? Впрочем, я верила, лишь когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая... Чем же, чем это доказать, я теперь пришла повергнуться пред вами и просить вас об этом. Ведь если я упущу и теперешний случай – то мне во всю жизнь никто уж не ответит. Чем же доказать, чем убедиться? О, мне несчастье! Я стою и кругом вижу, что всем все равно, почти всем, никто об этом теперь не заботится, а я одна только переносить этого не могу. Это убийственно, убийственно!

– Без сомнения, убийственно. Но доказать тут нельзя ничего, убедиться же возможно.

– Как? Чем?

– Опытом деятельной любви. Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможен зайти в вашу душу. Это испытано, это точно. (Стр. 58-59).

...> Главное, убегайте лжи, всякой лжи, лжи себе самой в особенности. Наблюдайте свою ложь и вглядывайтесь в нее каждый час, каждую минуту. Брезгливости убегайте тоже и к другим, и к себе: то, что вам кажется внутри себя скверным, уже одним тем, что вы это заметили в себе, очищается. Страха тоже убегайте, хотя страх есть лишь последствие всякой лжи. Не пугайтесь никогда собственного вашего малодушия в достижении любви, даже дурных при этом поступков ваших не пугайтесь очень. Жалею, что не могу сказать вам ничего отраднее, ибо любовь деятельная сравнительно с мечтательною есть дело жестокое и устрашающее. Любовь мечтательная жаждет подвига скорого, быстро удовлетворимого и чтобы все на него глядели. Тут действительно доходит до того, что даже и жизнь отдают, только бы не продлилось долго, а поскорей совершилось, как бы на сцене, и чтобы все глядели и хвалили. Любовь же деятельная – это работа и выдержка, а для иных так, пожалуй, целая наука. Но предрекаю, что в ту даже самую минуту, когда вы будете с ужасом смотреть на то, что, несмотря на все ваши усилия, вы не только не подвинулись к цели, но даже как бы от нее удалились, – в ту самую минуту, предрекаю вам это, вы вдруг и достигнете цели и

узрите ясно над собою чудодейственную силу Господа, вас все время любившего и все время таинственно руководившего. (Стр. 61).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Книга пятая. Глава IV

БУНТ

– Я тебе должен сделать одно признание, – начал Иван: – я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое – пропала любовь.

– Об этом не раз говорил старец Зосима, – заметил Алеша, – он тоже говорил, что лицо человека часто многим еще неопытным в любви людям мешает любить. <...>

– По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но мы-то не боги. Положим, я, например, глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и, сверх того, редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдал ему ногу. К тому же страдание и страдание: унижительное страдание, унижающее меня, голод например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое, по его фантазии, должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодеяний и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-

таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется. Но, во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. (Стр. 240-241).

«...» В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибывать людей за уши на ночь гвоздями, если б он даже и мог это сделать.«...»

— Брат, к чему это все? — спросил Алеша.

— Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.

— В таком случае, равно как и Бога.

— А ты удивительно как умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в «Гамлете», — засмеялся Иван. — Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой Бог, коль его создал человек по образу своему и подобию. (Стр. 242).

«...» Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве, очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, двадцатитрехлетнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом. Этот Ришар был чей-то незаконнорожденный, которого еще младенцем лет шести *подарили* родители каким-то горным швейцарским пастухам, и те его взрастили, чтоб употреблять в работу. Рос он у них как дикий зверенок, не научили его пастухи ничему, напротив, семи лет уже посылали пасти стадо, в мокреть и в холод, почти без одежды и почти не кормя его. И уж конечно, так делая, никто из них не задумывался и не раскаивался, напротив, считал себя в полном праве, ибо Ришар подарен им был как вещь, и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поесть хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям, но ему не давали даже и этого и

били, когда он крал у свиней, и так провел он все детство свое и всю юность, до тех пор пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти. Там ведь не сентиментальничают. И вот в тюрьме его немедленно окружают пасторы и члены разных Христовых братств, благотворительные дамы и проч. Научили они его в тюрьме читать и писать, стали толковать ему Евангелие, усовещевали, убеждали, напирали, пилили, давили, и вот он сам торжественно сознается наконец в своем преступлении. Он обратился, он написал сам суду, что он изверг и что наконец-таки он удостоился того, что и его озарил Господь и послал ему благодать. Все взволновалось в Женеве, вся благотворительная и благочестивая Женева. Все, что было высшего и благовоспитанного, ринулось к нему в тюрьму; Ришара целуют, обнимают: «Ты брат наш, на тебя сошла благодать!» А сам Ришар только плачет в умилении: «Да, на меня сошла благодать! Прежде я все детство и юность мою рад был корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во Господе!» – «Да, да, Ришар, умри во Господе, ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты невиновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм (что ты делал очень нехорошо, ибо красть не позволено), – но ты пролил кровь и должен умереть». И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: «Это лучший из дней моих, я иду к Господу!» – «Да, – кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы, – это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!» Все это двигается к эшафоту вслед за позорною колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота: «Умри, брат наш, – кричат Ришару, – умри во Господе, ибо и на тебя сошла благодать!» И вот покрытого поцелуями братьев брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттяпали-таки ему побратски голову за то, что и на него сошла благодать. Нет, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшего общества и разослана для просвещения народа русского при газетах и других изданиях даром. (Стр. 243-244)

«...» Для чего ты меня испытываешь? – с надрывом горестно воскликнул Алеша, – скажешь ли мне наконец?

– Конечно, скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме. (Стр. 247).

«...» – Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравнивается, – но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, – мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидел. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот, однако же, детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю – вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего затравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, какво должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: «Прав ты, Господи», то уж, конечно, настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и дей-

ствительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, *хотя бы я был и неправ*. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю. (Стр. 247-249).

«...» – Брат, – проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, – ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся *и за всё*, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на нем-то и созидается здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои».

– А, это «единый безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо

обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смеялся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять, то я б ее тебе рассказал? (Стр. 249-250).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Книга пятая. Глава V

ВЕЛИКИЙ ИНКВИЗИТОР

— Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия, тьфу! — засмеялся Иван, — а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, — тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, — тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В «Notre Dame de Paris»²⁰ у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: «Le bon jugement de la tres sainte et gracieuse Vierge Marie»²¹ где и является она сама лично и произносит свой bon jugement²². У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение Богородицы по мукам», с картинami и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее «по мукам» архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает Бог» — выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без разли-

²⁰ «Соборе Парижской Богоматери» (фр.).

²¹ «Милосердный суд пресвятой и всемилостивой Девы Марии» (фр.).

²² Милосердный суд (фр.).

чия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прошу его мучителей, — то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымалывает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему: «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залого с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,
Нет залогов от небес.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви), «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде... И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи явися нам», столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их «житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновение к народу, – к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных аутодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном аутодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad maiorem gloriam Dei*.²³ Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это он, это сам он, – повторяют все, – это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах.

²³ к вящей славе Господней (*лат.*).

«Он воскресит твое дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» – восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании Святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» сеvilская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет

завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгрести к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь», – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

– Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? – улыбнулся все время молча слушавший Алеша, – прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*?²⁴

– Прими хоть последнее, – рассмеялся Иван, – если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, – рассмеялся он опять, – старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

– А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

– Да так и должно быть во всех даже случаях, – опять засмеялся Иван. – Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: «все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? – спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, – нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил:

²⁴

«одно вместо другого», путаница, недоразумение (*лат.*) .

„Хочу сделать вас свободными“. Но вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. – Да, это дело нам дорого стоило, – продолжает он, строго смотря на него, – но мы dokonчили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротно и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?»

– Я опять не понимаю, – прервал Алеша, – он иронизирует, смеется?

– Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, – говорит он ему, – ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»

– А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? – спросил Алеша.

– А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, – продолжает старик, – великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных – правителей, первосвященников,

ученых, философов, поэтов – и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, – то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совоккуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неизвестно, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои». Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь

придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать — так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв «хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековечную тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе — это: «пред кем преклониться?» Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно *все вместе*. Вот эта

потребность *общности* преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и звали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут перед идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя – о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека веками. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразре-

шимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в Отца твоего», но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, – и это кто же, тот, который возлюбил его более само-

го себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и вос- торгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаться наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, беспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в

глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с *ним*, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с *ним*, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за *ним*. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранныками, но у тебя лишь избранныки, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранных, из могучих, которые могли бы стать избранныками, устали наконец, ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут *свободное* знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убе-

дим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или сождем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мановению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких

от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей – все судя по их послушанию – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободно-го. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранныками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих *тайну*, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее «гадкое» тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь». Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранных твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые *исправили подвиг твой*. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi²⁵». (Стр.250-264).

«...» – Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое,

²⁵ Так я сказал (*лат.*).

страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!» И выпускает его на «темные стогна града». Пленник уходит.

– А старик?

– Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее.
(Стр. 266-267) <...>

Лев Николаевич ТОЛСТОЙ (1828-1910)

Толстой Л.Н. Путь жизни / сост. А.Н. Николюкина. – М., 1993.

СОВЕСТЬ – ГОЛОС ДУШИ

1

В каждом человеке живут два человека: один слепой, телесный, а другой зрячий, духовный. Один – слепой человек – ест, пьет, работает, отдыхает, плодится и делает все это, как заведенные часы. Другой – зрячий, духовный человек – сам ничего не делает, а только одобряет или не одобряет то, что делает слепой, животный человек.

2

Зрячую, духовную часть человека называют совестью. Эта духовная часть человека, совесть, действует так же, как стрелка компаса. Стрелка компаса движется с места только тогда, когда тот, кто несет ее, сходит с того пути, который она показывает. То же и с совестью: она молчит, пока человек делает то, что должно. Но стоит человеку сойти с настоящего пути, и совесть показывает человеку, куда и насколько он сбился.

3

Когда мы слышим про то, что человек сделал что-нибудь дурное, мы говорим: совести у него нет.

Что же такое совесть?

Совесть – это голос того единого духовного существа, которое живет во всех.

4

Совесьть – это сознание того духовного существа, которое живет во всех людях. И только тогда, когда она такое сознание, она верный руководитель жизни людей. А то часто люди считают за совесть не сознание этого духовного существа, а то, что считается хорошим или дурным теми людьми, с которыми они живут.

5

Голос страстей может быть громче голоса совести, но голос страстей совсем другой, чем тот спокойный и упорный голос, которым говорит совесть. И как ни громко кричат страсти, они все-таки робеют перед тихим, спокойным и упорным голосом совести. Голосом этим говорит вечное, божественное, живущее в человеке.

Чаннинг

6

Философ Кант говорил, что две вещи больше всего удивляют его. Одно: это звезды на небе, а другое: это закон добра в душе человека.

7

Истинное доброе в тебе самом, в твоей душе. Кто ищет добро не в самом себе, делает то же, что делает пастух, когда ищет в стаде того ягненка, который у него за пазухой.

Индийская Вамана Пурана

БОЖЕСТВЕННОСТЬ ДУШИ

1

Прежде всего пробуждается в человеке сознание своей отделенности от всего остального вещества, то есть своего тела. Потом сознание того, что отделено, то есть своей души, и потом сознание того, от чего отделена эта духовная основа жизни – сознание всего – Бога.

Вот это-то то, что сознает свое отделение от всего, от Бога, и есть то единое духовное существо, которое живет в каждом человеке.

2

Сознать себя отделенным существом значит познать существование того, от чего отделен, познать существование всего – Бога.

3

"Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам: наступает

время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и услышавши оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе".

Ин. V, 24-26

4

Капля, попадая в море, становится морем. Душа, соединяясь с Богом, становится Богом.

Ангелус Силезиус

5

Когда истина высказывается человеком, то это не значит того, чтобы истина эта исходила из человека. Всякая истина от Бога. Она только проходит через человека. Если она проходит через этого, а не другого человека, то это только оттого, что этот человек сумел сделать себя настолько прозрачным, чтобы истина могла проходить через него.

Паскаль

6

Бог говорит: "Я был никому не известным сокровищем. И Я пожелал быть известным. И вот Я создал человека".

Магомет

7

Бога никак нельзя понять умом. Мы знаем, что Он есть, только потому, что знаем Его не умом, а тем, что создаем Его в себе.

Для того, чтобы человеку быть настоящим человеком, ему надо сознать Бога в себе.

Спрашивать, есть ли Бог, все равно, что спрашивать: есть ли я? То, чем я живу, это и есть Бог.

8

Тело – это пища души, это леса, посредством которых строится истинная жизнь.

Самая большая радость, какую может узнать человек, это радость познания в себе свободного, разумного, любящего и потому блаженного существа, познание в себе Бога.

9

Если человек не знает самого себя, то нельзя советовать ему, чтобы он постарался узнать Бога. Можно советовать это только такому человеку, который знает себя. Прежде, чем узнать Бога, человек должен узнать самого себя.

Если я растоплюсь на Божьем огне, то Бог оттиснет на мне свой образ.

Ангелус Силезиус
(с. 49-51)

V. ЛЮБОВЬ

Душа человеческая, будучи отделена телом от Бога и душ других существ, стремится к соединению с тем, от чего она отделена. Соединяется душа с Богом все большим и большим сознанием в себе Бога, с душами же других существ все большим и большим проявлением любви.

I. ЛЮБОВЬ СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ И С БОГОМ, И С ДРУГИМИ СУЩЕСТВАМИ

1

"Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего своего, как самого себя", – сказал Христу законник. И на это Иисус сказал: "Правильно ты отвечал, так поступай", то есть люби Бога и ближнего, – "и будешь жить".

2

Несчастливы вы, мирские люди! Горести и тревоги у вас над головой и под ногами, и направо и налево, и сами вы для самих себя загадки. И такими загадками останетесь вы навсегда, если не сделаетесь радостными и любовными, как дети. Только тогда вы познаете Меня, – и, познав Меня, познаете себя, и тогда только будете управлять собою.

И только тогда, глядя из своей души на мир, все вам будет благо, и в мире, и в вас самих.

Буддийские сутты

3

Любить можно только совершенство. И потому для того, чтобы любить, надо одно из двух: или считать совершенным то, что несовершенно, или любить совершенство, то есть Бога. Если считать совершенным то, что несовершенно, то ошибка рано или поздно окажется, и любовь кончится. Любовь же к Богу, то есть к совершенству, не может кончиться.

4

Бог есть любовь; пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Бога никто не видит нигде; но если мы любим друг друга, то Он пребывает в нас, и любовь Его в нас совершилась. Если кто говорит: люблю Бога, но брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может он любить Бога, Которого не видит? Братья, будем любить друг друга, любовь от Бога, и любящий каждый от Бога и знает Бога, потому что Бог есть любовь.

по I посл. Иоанна IV

5

Сойтись по-настоящему могут люди только в Боге. Для того, чтобы людям сойтись, им не нужно идти навстречу друг другу, а нужно всем идти к Богу.

Если бы был такой огромный храм, в котором свет шел бы сверху только в самой середине, то для того, чтобы сойтись людям в этом храме, им всем надо было бы только идти на свет в середину. То же и в мире. Иди все люди к Богу, и все сойдутся.

6

"Братья, будем любить друг друга. Любовь от Бога, и любящий рожден от Бога и знает Бога. Нелюбящий не знает Бога, потому что Бог есть любовь", сказал Иоанн апостол.

Любить всех людей кажется трудно. Но кажется трудным каждое дело, когда не научился его делать. Люди всему учатся: и шить, и ткать, и пахать, и косить, и ковать, и читать, и писать. Также надо учиться и тому, чтобы любить всех людей.

И выучиться этому нетрудно, потому что любовь людей друг к другу вложена нам в душу. "Бога никто не видел нигде, но если мы любим друг друга, то Он пребывает в нас".

А если Бог – любовь и пребывает в нас, то выучиться любви нетрудно. Надо только стараться избавиться от того, что мешает любви, избавиться от того, что не выпускает ее наружу. И только начини так делать – и скоро научишься самой важной и нужной на свете науке: любви к людям.

7

Нет ничего радостнее того, как то, когда мы знаем, что люди любят нас. Но удивительное дело: для того, чтобы люди любили нас, надо не угождать им, а надо только приближаться к Богу. Только приближайся к Богу и не думай о людях, и люди полюбят тебя.

8

Не просите Бога о том, чтобы Он соединил вас. Он уже соединил вас тем, что вложил во всех один и тот же дух Свой. Только откидывайте то, что разделяет вас, и вы будете едины.

9

Человеку кажется, что он желает блага только себе. Но это только кажется: желает в человеке блага себе тот Бог, Который живет в человеке. Бог же желает блага всем людям.

10

Тот, кто говорит, что любит Бога, но не любит ближнего, тот обманывает людей. Тот же, кто говорит, что любит ближнего, но не любит Бога, тот обманывает самого себя.

11

Говорят, надо бояться Бога. Это неправда. Бога надо любить, а не бояться. Нельзя любить того, кого боишься. Да, кроме того, нельзя бояться Бога оттого, что Бог есть любовь. Как же бояться любви? Не бояться Бога надо, а сознавать Его в себе. А если будешь сознавать Бога в себе, то не будешь бояться ничего на свете.

12

Говорят, что в последний день будет общий суд и что добрый Бог будет гневаться. Но от благого Бога не может ничего произойти, кроме добра.

Какие бы ни были на свете веры, истинная вера только та одна, что Бог любовь. А от любви не может быть ничего, кроме добра.

Не бойся: и в жизни и после жизни ничего не может быть и не будет, кроме добра. С персидского

13

Жить по-Божьи значит быть подобным Богу. А чтобы быть подобным Богу, надо ничего не бояться и ничего не желать для себя. А для того, чтобы ничего не бояться и ничего не желать для себя, надо только любить.

14

Одни говорят: войди в самого себя, и ты найдешь покой. – В этом еще не вся правда.

Другие, напротив, говорят: выйди из самого себя; постарайся забыться и найти счастье в удовольствиях. – И это неправда. Уж оттого неправда, что удовольствиями не избавишься от болезней. Покой и сча-

стве – не внутри нас и не вне нас, они – в Боге. А Бог и внутри нас и вне нас.

Люби Бога – и в Боге найдешь то, чего ищешь.

Паскаль

II. КАК ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА ТРЕБУЕТ ПИЩИ И СТРАДАЕТ БЕЗ НЕЕ, ТАК И ДУША ЧЕЛОВЕКА ТРЕБУЕТ ЛЮБВИ И БЕЗ НЕЕ СТРАДАЕТ

1

Все вещи тянутся к земле и тянутся друг к другу. Точно так же и все души тянутся к Богу и друг к другу.

2

Живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.

Для того, чтобы люди не жили врозь, а все заодно. Бог не открыл им того, что каждому для себя нужно, а только то, что им всем для всех нужно.

Для того же, чтобы люди знали, что им всем для всех нужно. Он вошел в их душу и в душах их сказался любовью.

3

Все беды людей не от неурожая, не от пожаров, не от злодеев, а только от того, что они живут врозь. А живут они врозь потому, что не верят тому голосу любви, который живет в них и влечет их к единению.

4

Человек, пока он живет животной жизнью, кажется, что если он отделен от других людей, то это так и надо и не может быть иначе. Но как только человек начнет жить духовно, так ему становится странно, непонятно, даже больно, зачем он отделен от других людей, и он старается соединиться с ними. А соединяет людей только любовь.

5

Всякий человек знает, что ему нужно делать не то, что разъединяет его с людьми, а то, что соединяет его с ними, – знает это человек не оттого, что это повелено ему кем-то, но оттого, что чем больше он соединяется с людьми, тем ему лучше жить, и напротив: тем хуже живется ему, чем больше он разъединяется.

6

Жизнь каждого человека только в том, чтобы становиться с каждым годом, месяцем, днем все лучше и лучше. И чем люди становятся лучше, тем они ближе соединяются друг с другом. А чем ближе соединяются люди, тем жизнь их лучше.

7

Чем больше любишь человека, тем меньше чувствуешь свое отделение от него. Кажется, что он — то же, что я, а я — то же, что он.

8

Если бы мы только твердо держались того, чтобы соединяться с людьми в том, в чем мы согласны с ними, и не требовать от них согласия с тем, с чем они несогласны, мы бы были гораздо ближе к Христу, чем те люди, которые, называя себя христианами, во имя Христа отделивают себя от людей других вер, требуя от них согласия с тем, что ими считается истиной.

9

Любите врагов ваших, и не будет у вас врагов. "Учение 12 апостолов".

10

Путь к единению человек узнает так же легко, как мы узнаем проход, проложенный досками через трясину. Только сверни прочь с пути - и завязнешь в трясине мирской суеты, раздора и злобы.

III. ЛЮБОВЬ ТОЛЬКО ТОГДА ИСТИННА, КОГДА ОНА ЛЮБОВЬ КО ВСЕМ

1

Бог хотел, чтобы мы были счастливы, и для того вложил в нас потребность счастья, но Он хотел, чтобы мы были счастливы все, а не отдельные люди, и для того вложил в нас потребность любви. Оттого и счастливы могут быть люди только тогда, когда они все будут любить друга.

2

Римский мудрец Сенека говорил, что все, что мы видим, все живое, все это - одно тело: мы все, как руки, ноги, желудок, кости, - члены этого тела. Мы все одинаково родились, все мы одинаково желаем себе добра, все мы знаем, что нам лучше помогать друг другу, чем губить друг дру-

га, и во всех нас заложена одна и та же любовь друг к другу. Мы, как камни, сложены в такой свод, что все сейчас же погибнем, если не будем поддерживать друг друга.

3

Всякий старается сделать себе как можно больше добра, а самое большое добро на свете в том, чтобы быть в любви и согласии со всеми людьми. Как же получить это добро, когда чувствуешь, что одних людей любишь, а других не любишь? Надо научиться любить тех, кого не любишь. Человек учится самым трудным искусствам, учится читать, писать, всякой науке, ремеслу. Если бы только человек учился любви так же усердно, как он учится наукам и ремеслам, он скоро и легко научился бы тому, чтобы любить всех людей, даже тех, которые неприятны нам.

4

Если ты понял, что главное дело в жизни – любовь, то, сойдясь с человеком, ты будешь думать не о том, чем может быть полезен тебе этот человек, а о том, как и чем ты можешь быть полезен ему. Делай только так, и ты во всем будешь успевать больше, чем если бы ты заботился о себе. (с. 82-87).

IV. ПРЕСТУПНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРЕХУ БЛУДА СО СТОРОНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВ, РУКОВОДЯЩИХ ЖИЗНЬЮ ЛЮДЕЙ

1

Для того чтобы ясно понять всю безнравственность, все антихристианство жизни христианских народов, довольно только вспомнить о том, что повсюду допускается и упорядочивается правительствами положение женщин, живущих развратом.

2

Среди богатых людей сложилось поддерживаемое ложной наукой убеждение о том, что половое общение необходимо для здоровья и что так как женитьба не всегда возможна, то и половое общение вне брака, не обязывающее мужчин ни к чему, кроме денежной платы, есть дело совершенно естественное. Убеждение это до такой степени стало общим и твердым, что родители, по совету врачей, устраивают разврат для своих детей; правительства же, единственный смысл которых состоит в заботе о благосостоянии своих граждан, учреждают разврат, то есть

разрешают существование сословия женщин, долженствующих погибать телесно и душевно для удовлетворения распущенности мужчин.

3

Говорить о том, полезно или вредно для здоровья мужчины половое общение с женщинами, с которыми он не будет жить, как муж с женой, все равно что говорить, полезно или вредно человеку для его здоровья пить кровь других людей.

БОРЬБА С ГРЕХОМ БЛУДА

1

Человеку, как животному, нужно бороться с другими существами и плодиться, чтобы увеличить свою породу; но как разумному, любящему существу, ему нужно не бороться с другими существами, а любить всех, и не плодиться, чтобы увеличить свою породу, а быть целомудренным. Из соединения этих двух противных стремлений: стремления к борьбе и к половой похоти и стремления к любви и целомудрию, и складывается жизнь человека такую, какою она должна быть.

2

Что делать чистым юноше и девушке, когда в них пробудилось половое чувство? Чем руководиться?

Соблюдать себя чистыми и стремиться к все большему и большему целомудрию мыслей и желаний.

Что делать юноше и девушке, подпавшим соблазнам, поглощенным мыслями о беспредметной любви или о любви к известному лицу?

Все то же: не попускать себя на падение, зная, что такое попускание не освободит от соблазна, а только усилит его, и все так же стремиться к большему и большему целомудрию.

3

Что делать людям, когда они не осилили борьбы и пали?

Смотреть на свое падение не как на законное наслаждение, как смотрят теперь, когда оно оправдывается обрядом брака, и не как на случайное удовольствие, которое можно повторять с другими, а также и не как на несчастье, когда падение совершается с неровней и без брачного обряда, а смотреть на это первое падение как на вступление в неразрывный брак.

Что делать мужчине и женщине, вступившим в брак?

Все то же: стремиться вместе к освобождению себя от половой похоти.

4

Главное средство борьбы с похотью – это сознание человеком своей духовности. Стоит человеку вспомнить, кто он, для того, чтобы половая страсть представилась ему тем, что она и есть: унижительным животным свойством.

5

Борьба с половой похотью необходима. Но надо заранее знать всю силу врага, не обольщать себя обманчивой надеждой на скорую победу: бой с этим врагом бывает тяжелый. Но не надо падать духом. Пусть будут падения все-таки не унывай. Ребенок, когда учится ходить, падает сотни раз, ушибается, плачет, опять встает и опять падает, но в конце концов все-таки выучивается. Не падение страшно, а страшно оправдание падения, страшна та ложь, которая выставляет эти падения или чем-то роковым, неизбежным, или чем-то прекрасным и высоким. Пусть, идя по пути к освобождению себя от скверны, к совершенству, мы по слабости и собьемся с него, все же будем всеми силами стараться идти по нему. Не будем говорить, что грязь – наш удел, не будем "философски" или "поэтически" лгать, оправдывая себя, – будем твердо помнить, что это есть зло и мы не хотим делать его.

Наживин

6

Борьба с половой похотью – самая трудная борьба, и нет положения и возраста, кроме первого детства и самой глубокой старости, когда человек был бы свободен от нее. И потому взрослому и не старому еще человеку, как мужчине, так и женщине, надо всегда быть настороже против врага, выжидающего только удобного случая нападения.

7

Все страсти зарождаются в мыслях и поддерживаются мыслями. Но никакая страсть не поддерживается и не усиливается так мыслью, как страсть сладострастия. Не останавливайся на сладострастных мыслях, а отгоняй их.

8

Как в пище приходится людям в воздержании учиться у животных – есть только, когда голоден, и не переедать, когда сыт, так приходится людям и в половом общении учиться у животных: так же, как животные, воздерживаться до полной зрелости, приступать к общению только тогда, когда неудержимо влечешься к нему, и воздерживаться от полового общения, как только появился зародыш.

Один из самых верных признаков того, что человек точно хочет жить доброй жизнью, это – строгость к себе в половой жизни.

БРАК

1

Хорошо человеку не касаться женщин, но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждый имей своего мужа.

Кор. VII, 1-2

2

Христианское учение не дает одинаких правил для всех; оно во всем только указывает то совершенство, к которому надо приближаться; то же и в половом вопросе: совершенство – это полное целомудрие. Люди же, не понимая христианского духа, хотят общего для всех правила. Вот для таких людей и выдуман церковный брак. Церковный брак вовсе не христианское учреждение, потому что, разрешая в известных условиях половое общение, оно отступает от христианского требования: стремления к все большему и большему целомудрию.

3

Брак – это обещание двух людей, мужчины и женщины, иметь детей только друг от друга. Тот из двух, кто не исполняет этого обещания, делает грех, от которого всегда ему же самому бывает хуже.

4

Для того, чтобы попасть в цель, надо бить дальше ее. Так и для того, чтобы брак был неразрывен и оба супруга оставались верны друг другу, надо, чтобы оба стремились к целомудрию.

5

Очень ошибаются те люди, которые думают, что совершенный над ними обряд бракосочетания освобождает их от необходимости воздержания в половом общении для достижения и в брачном союзе все большего и большего целомудрия.

6

Если человек будет, как это бывает среди нас, видеть в половом общении, хотя бы в браке, наслаждение, то неизбежно попадет в разврат.

Сожительство, последствием которого может быть деторождение, есть истинный, действительный брак; всякие же обряды, заявления, условия не составляют брака и употребляются большей частью для того, чтобы признать из многих сожительств только одно браком.

Так как в истинном христианском учении нет никаких оснований для учреждения брака, то люди нашего христианского мира, не веря в церковные определения брака, чувствуя, что это учреждение не имеет основания в христианском учении, и вместе с тем не видя перед собою, закрытого церковным учением идеала Христа — полного целомудрия, остаются по отношению брака без всякого руководства. От этого-то и происходит то кажущееся сначала странным явление, что у народов, признающих религиозные учения гораздо более низкого уровня, чем христианство, но имеющих точные внешние определения брака, семейное начало, супружеская верность несравненно тверже, чем у так называемых христиан. У народов, признающих более низкие, чем христианское, вероучения, есть определенное наложничество и многоженство и многомужество, ограниченное известными пределами, но нет той полной распушенности, проявляющейся в наложничестве, многоженстве и многомужестве, царящей среди людей христианского мира и скрывающейся под видом воображаемого единобрачия.

Если цель обеда — питание тела, то тот, кто съест сразу два обеда, достигнет, может быть, большого удовольствия, но не достигнет цели, ибо оба обеда не переварятся желудком. Если цель брака есть семья, то тот, кто захочет иметь много жен и мужей, может быть, получит много удовольствия, но ни в каком случае не будет иметь главной радости брака и оправдания брака — семьи. Хорошее, достигающее своей цели, питание бывает только тогда, когда человек не ест больше того, что может переварить его желудок. Точно так же и хороший, достигающий своей цели, брак бывает только тогда, когда муж не имеет больше жен, а жена больше мужей, чем сколько их нужно для того, чтобы правильно воспитать детей, а это возможно только тогда, когда у мужа одна жена, а у жены один муж.

У Христа спросили: можно ли человеку оставлять жену и брать другую? Он на это сказал, что этого не должно быть, что человек, сойдясь с женой, должен соединиться с нею так, чтобы они двое были как

одно тело. И что таков закон Бога, и что то, что Бог соединил, человек не должен разделять.

На это ученики сказали, что жить так с женой слишком трудно. А Иисус сказал им, что человек может и не жениться, но что если человек не женится, то он должен жить чистой жизнью.

11

Для того, чтобы брак был разумным и нравственным делом, нужно:

Во-первых, не думать, как теперь думают, что каждому человеку, мужчине и женщине, нужно непременно вступить в брак, а, напротив, думать, что каждому человеку – мужчине и женщине – лучше всего соблюсти чистоту для того, чтобы ничто не мешало отдать все свои силы на служение Богу.

Во-вторых, смотреть на вступление в половое общение кого бы то ни было и с кем бы то ни было, как на вступление в неразрывный брак.

В-третьих, не смотреть на брак, как теперь, как на разрешение удовлетворения плотской похоти, а как на грех, требующий своего искупления, состоящего в исполнении обязанностей семьи.

См. Мф. XIX, 4-7

12

Разрешение в браке для двух людей разных полов жить половой жизнью не только несогласно с христианским учением о целомудрии, но прямо противно ему.

Целомудрие, по христианскому учению, есть то совершенство, к которому свойственно приближаться человеку, живущему христианской жизнью. И потому все то, что препятствует этому приближению к целомудрию, как разрешение в браке половых сношений, противно требованиям христианской жизни.

13

Когда на бракосочетание смотрят как на освобождение со времени совершения брака от стремления к целомудрию, то брак становится не средством ограничения похоти, а, напротив, поощрением ее. К сожалению, именно так и смотрит на брак большинство людей.

14

Подумайте 10, 20, 100 раз, прежде чем жениться. Связать свою жизнь с жизнью другого человека половой связью – дело великой важности.

VII. ДЕТИ – ИСКУПЛЕНИЕ ПОЛОВОГО ГРЕХА

1

Если бы люди достигли совершенства и стали бы целомудренны, род человеческий прекратился бы, и незачем ему было бы жить на земле, потому что люди стали бы как ангелы, которые не женятся и замуж не идут, как это сказано в Евангелии. Но пока люди не достигли совершенства, они должны производить потомство, для того, чтобы потомство это, совершенствуясь, достигало того совершенства, которого должны достигнуть люди.

2

Брак, настоящий брак, состоящий в рождении и воспитании детей, есть посредственное служение Богу – служение Богу через детей. "Если я не сделал того, что мог и должен был сделать, так вот на смену мне мои дети, – они будут делать".

От этого-то люди, вступающие в брак, имеющий целью деторождение, всегда испытывают чувство как будто некоторого успокоения, облегчения. Люди чувствуют, что они передают часть своих обязанностей своим будущим детям. Но чувство это законно только тогда, когда соединенные браком супруги стараются воспитать детей так, чтобы они не были помехой делу божьему, а работниками его. Сознание того, что если я сам не мог или сама не могла вполне отдаться служению Богу, то я сделаю все возможное для того, чтобы дети мои сделали это, – сознание это дает и браку и воспитанию духовный смысл.

3

Благословенное детство, которое среди жестокости земли дает хоть немного неба. Эти восемьдесят тысяч ежедневных рождений, о которых говорит статистика, составляют как бы изливание невинности и свежести, которые борются не только против уничтожения рода, но и против человеческой испорченности и всеобщего заражения грехом. Все добрые чувства, вызываемые около колыбели и детства, составляют одну из тайн великого провидения; уничтожьте вы эту освежающую росу, и вихрь эгоистических страстей как огнем высушит человеческое общество.

Если предположить, что человечество состояло бы из миллиарда бессмертных существ, число которых не могло бы ни увеличиваться, ни уменьшаться, где бы мы были и что бы мы были, великий Боже! Мы стали бы, без сомнения, в тысячу раз учнее, но и в тысячу раз хуже.

Благословенно детство за то благо, которое оно дает само, и за то добро, которое оно производит, не зная и не желая этого, только заставляя, позволяя себя любить. Только благодаря ему мы видим на земле

частичку рая. Благословенна и смерть. Ангелы не могут нуждаться ни в рождении, ни в смерти для того, чтобы жить; но для людей необходимо, неизбежно и то и другое.

Амиель

4

Брак оправдывается и освящается только детьми, тем, что если мы не можем сами сделать всего того, чего хочет от нас Бог, то мы хоть через детей, воспитав их, можем послужить делу Божию. И потому брак, в котором супруги не хотят иметь детей, хуже прелюбодеяния и всякого разврата.

IX. ТУНЕЯДСТВО

Несправедливо брать от людей больше того труда, какой даешь им. Но так как никак нельзя взвесить, больше ли ты даешь людям или берешь от них, и, кроме того, всякий час ты можешь обессилеть, заболеть, и придется брать, а не давать, то, пока есть силы, старайся работать на людей как можно больше, а брать от них работы как можно меньше.

I. БОЛЬШОЙ ГРЕХ ДЕЛАЕТ ЧЕЛОВЕК, ЕСЛИ, ПОЛЬЗУЯСЬ ТРУДАМИ ЛЮДЕЙ, САМ НЕ РАБОТАЕТ

1

Кто не хочет трудиться, тот и не ешь.

Апостол Павел

2

Пользуясь какой бы то ни было вещью, помни, что это - произведение человеческого труда и что, тратя, уничтожая, портя эту вещь, ты тратишь труд, иногда жизнь человеческую.

3

Кто не кормится собственной работой, а заставляет других прокармливать себя, тот людоед.

Восточная мудрость

4

Вся христианская мораль в практическом ее приложении сводится к тому, чтобы считать всех братьями, со всеми быть равным, а для того, чтобы исполнить это, надо прежде всего перестать заставлять других работать на себя, а при нашем устройстве мира – пользоваться как мож-

но менее работой, произведениями других, — тем, что приобретается за деньги, — как можно менее тратить денег, жить как можно проще.

5

То, что можешь сделать сам, не заставляй делать другого. Всякий пусть метет перед своей дверью. Если каждый будет делать так, вся улица будет чиста.

6

Какая самая лучшая пища? Та, какую вы сами заработали.

Магомет

7

Очень полезно бывает людям богатым хоть на короткое время выйти из своей роскошной жизни и прожить хоть немного времени так же, как живут рабочие, своими руками делая для себя все, что у богатых людей делают наемные рабочие. Только сделай это богатый человек, и он увидит тот великий грех, который он делал прежде. Только поживи так — он поймет всю неправду жизни людей богатых.

8

Люди привыкли думать, что стряпать, шить, нянчить детей — дело женское и что делать это мужчине даже стыдно. А между тем, напротив того, стыдно мужчине, часто незанятому, проводить время за пустяками или ничего не делать в то время, как усталая, часто слабая, беременная женщина через силу стряпает, стирает, нянчит.

9

Людям, которые живут роскошной жизнью, нельзя любить людей. Нельзя им любить, потому что все то, чем они пользуются, сделано по-неволе, от нужды, часто с проклятиями, теми людьми, которых они заставляют служить себе. Для того, чтобы им можно было любить людей, им надо прежде перестать мучить их.

10

Спасался один монах в пустыне. И не переставая читал молитвы и ночью вставал два раза, чтобы молиться. Пищу ему приносил крестьянин. И нашло на него сомнение: хорошо ли такое его житье? И пошел он к старцу посоветоваться. Пришел он к старцу и рассказал ему про свою жизнь, про то, как он молится, и какими словами, и как по ночам встает, и как кормится подаванием, и спросил: хорошо ли он так делает? — Все это хорошо, — сказал старец, — но сходи и посмотри, как живет тот

крестьянин, который носит тебе пищу. Может быть, научишься чему-нибудь у него.

Монах пошел к крестьянину и провел с ним день и ночь. Крестьянин вставал рано утром и только говорил: "Господи", и шел на работу и пахал целый день. К ночи он возвращался и, когда ложился спать, во второй раз говорил: "Господи".

Посмотрел монах так на жизнь крестьянина. "Нечему мне учиться тут", подумал он и подивился, зачем старец послал его к крестьянину.

Вернулся монах к старцу и сказал ему все: что он был у крестьянина, но не нашел ничего поучительного. "Он не думает о Боге и только два раза в день поминает его".

Тогда старец сказал: "Возьми ты эту чашу, полную масла, и обойди вокруг деревни и вернись, но смотри, чтобы ни капли масла не пролил на землю".

Монах сделал так, как ему было сказано, и когда вернулся, старец спросил его:

"Скажи, сколько раз вспомнил ты Бога, пока нес чашу?"

Монах признался, что ни разу не вспомнил. "Я, – говорит, – только о том и думал, как бы не пролить масла".

И старец сказал: "Это одна чаша с маслом так заняла тебя, что ты ни разу не вспомнил о Боге. А крестьянин и себя, и семью, и тебя кормит своими трудами и заботами, и то два раза в день вспоминает о Боге".

II. ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА ТРУДА НЕ ТРУДНО, А РАДОСТНО

1

"В поте лица снеси хлеб твой". Это неизменный закон телесный. Как женщине дан закон в муках родить, так мужчине дан закон труда. Женщина не может освободиться от своего закона. Если она усыновит не ею рожденного ребенка, это будет все-таки чужой ребенок, и она лишится радости материнства. То же с трудами мужчин. Если мужчина ест хлеб, выработанный не им, он лишает себя радости труда.

Бондарев

2

Человек боится смерти и подлежит ей. Человек, не знающий добра и зла, кажется счастливее, но он неудержимо стремится к этому познанию. Человек любит праздность и удовлетворение похотей без страданий, и вместе с тем только труд и страдания дают жизнь ему и его роду.

3

Какая страшная ошибка думать, что души людей могут жить высокой духовной жизнью в то время, как тела их остаются в праздности и роскоши! Тело всегда первый ученик души.

Торо

4

Если человек, живя один, уволит себя от закона труда, он тотчас же казнится тем, что тело его чахнет и ослабляется. Если же человек уволит себя от этого закона тем, что заставит других людей трудиться вместо него, то он тотчас же казнится тем, что душа его затемняется и умалется.

5

Человек живет и телесной и духовной жизнью. И есть закон телесной и закон духовной жизни. Закон телесной жизни – труд. Закон духовной жизни любовь. Если человек нарушил закон телесной жизни – закон труда, он неизбежно нарушит и духовный – закон любви.

6

Как ни прекрасны одежды, жалованные царем, свои домодельные лучше, и как ни вкусны кушанья богатых, хлеб с своего стола самое лучшее кушанье.

Саади

7

Если много работаешь на других, не тяготись такой работой и не ждай себе за нее похвалы, а знай, что труд твой, если ты, любя, делаешь его для других, полезнее всего для настоящего тебя, для души твоей.

8

Сила Божия уравнивает людей, отнимает у тех, у кого много, и дает тем, у кого мало. У богатого человека больше вещей, но меньше радости от них. У бедного меньше вещей, но больше радостей. Вода из ручья и корка хлеба во много раз вкуснее бедному, потрудившемуся работнику, чем самые дорогие кушанья и напитки богатому, праздному человеку. Богачу все приелось и прискучило, и нет ни от чего радости. Потрудившемуся работнику и пища, и питье, и отдых всякий раз новая радость.

9

Ад скрыт за наслаждениями, а рай за трудами и бедствиями.

Магомет

10

Без ручного труда не бывает здорового тела, не бывает и здоровых мыслей в голове.

11

Хочешь всегда быть в добром духе – трудись до усталости, но не через силу. От праздности люди бывают и недовольны и сердиты. То же бывает и от работы через силу.

12

Одна из лучших и чистых радостей – это отдых после труда.

Кант

XXIII. СЛОВО

Слово – выражение мысли и может служить соединению и разделению людей; поэтому нужно с осторожностью обращаться с ним.

I. СЛОВО – ДЕЛО ВЕЛИКОЕ

1

Словом можно соединить людей, словом можно разъединить их; словом можно служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое разъединяет людей или служит вражде и ненависти.

2

Слово - выражение мысли, мысль - проявление Божеской силы, и потому слово должно соответствовать тому, что оно выражает. Оно может быть безразлично, но не может и не должно быть выражением зла.

3

Человек - носитель Бога. Сознание своей божественности он может выражать словом. Как же не быть осторожным в слове?

4

Время проходит, но сказанное слово остается.

5

Если имеешь время подумать, прежде чем начинать говорить, то подумай, стоит ли, нужно ли говорить, не может ли повредить кому-

нибудь то, что ты хочешь сказать. И большей частью бывает так, что если подумаешь, то и не начнешь говорить.

6

Прежде думай, потом говори. Но остановись прежде, чем тебе скажут: "довольно". Человек выше животного способностью речи, но ниже его, если болтает, что попало.

Саади

7

После долгого разговора постарайся вспомнить все то, о чем было говорено, и ты удивишься, как пусто и ненужно и часто дурно было все говоренное.

8

Слушай, будь внимателен, но говори мало.

Никогда не говори, если тебя не спрашивают, но если тебя спрашивают, отвечай тотчас же и коротко, и не стыдись, если ты должен признаться, что не знаешь того, о чем тебя спрашивают.

Суфийская мудрость

9

Если хочешь быть умным, научись разумно спрашивать, внимательно слушать, спокойно отвечать и переставать говорить, когда нечего больше сказать.

Лафатер

10

Не хвали себя, не осуждай других и не спорь.

11

Слушай речи ученого человека со вниманием, хотя бы дела его не соответствовали его учению. Человек должен поучаться, хотя бы поучение было написано на стене.

Саади

12

Есть очень хорошие три короткие слова: я не знаю. Приучай свой язык почаще говорить их.

Восточная мудрость

13

Есть старинное изречение: "de mortuis aut bene, aut nihil", то есть: о мертвых говори доброе или ничего. Как это несправедливо! Напротив,

надо бы сказать: "о живых говори доброе или ничего". От скольких страданий это избавило бы людей, и как это легко! О мертвых же почему не говорить худого? В нашем мире, напротив, установилось вследствие обычая некрологов и юбилеев говорить о мертвых одни преувеличенные похвалы, - следовательно, только ложь. А такие лживые похвалы вредны потому, что сглаживают в понятиях людей различие между добром и злом.

14

С чем сравнить язык в устах человека? Это ключ сокровищницы; когда дверь заперта, никто не может знать, что там: драгоценные ли камни или только ненужный хлам?

Саади

15

Хотя, по учению мудрых, молчание полезно, свободная речь тоже нужна, но нужна только в свое время. Мы грешим словом и когда молчим, а надо бы говорить, и когда говорим, а надо бы молчать.

Саади

II. КОГДА РАССЕРДИЛСЯ, МОЛЧИ

1

Если ты знаешь, как надо жить людям, и желаешь им добра, то будешь высказывать им это. Высказывать же это будешь стараться так, чтобы они поверили в твои слова. Для того же, чтобы они поверили тебе и поняли тебя, тебе надо постараться передать твои мысли не с раздражением и гневом, а спокойно и с добром.

2

Когда ты хочешь передать твоему собеседнику в разговоре какую-нибудь истину, то самое главное при этом - не раздражаться и не сказать ни одного недоброго или обидного слова.

По Эпиктету

3

Несказанное слово— золото.

4

Не думать вперед о том, что ты скажешь, можно только тогда, когда чувствуешь себя спокойным, добрым и любящим. Но если ты неспокоен и раздражен, то берегись согрешить словом.

5

Если ты не можешь тотчас же утишить гнев, удержи язык. Помолчи - и ты скорее успокоишься.

Бакстер

6

Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а доводы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его.

Вилькинс

7

Как только мы почувствовали гнев во время спора, мы уже спорим не за истину, а за себя.

Карлейль

III. НЕ СПОРЬ

1

Зарождающаяся ссора подобна пробивающемуся сквозь плотину потоку: как только он пробился, ты уже не удержишь его. А всякая ссора вызывается и поддерживается словами.

Талмуд

2

Спор никого не убеждает, а разъединяет и озлобляет. Что молоток для гвоздей, то спор для мнений людей. Мнения, еще шаткие, после споров становятся так же твердо забиты в головы, как гвозди до шляпок.

По Ювеналу

3

В спорах забывается истина. Прекращает спор тот, кто умнее.

4

К спорам прислушивайся, но в споры не вмешивайся. Храни тебя Бог от запальчивости и горячки, хотя бы даже в малейшем выражении. Гнев везде неуместен, а больше всего в деле правом, потому что затемняет и мутит его.

Гоголь

Лучший ответ безумцу - молчание. Каждое слово ответа отскочит от безумца на тебя. Отвечать обидой на обиду - все равно, что подкидывать дров в огонь.

IV. НЕ ОСУЖДАЙ

1

Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; а какою мерою мерите, такою и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: дай я выну сучок из глаза твоего; а вот в твоем глазе бревно? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Мф. VII, 1-6

2

Почти всегда, поискав в себе, мы найдем тот же грех, который мы осуждаем в другом. Если же мы не знаем за собой именно того самого греха, то стоит только поискать, и мы найдем еще худший.

3

Как только начинаешь судить человека, помни о том, чтобы не сказать про него дурного, если ты наверно знаешь про это дурное, а тем более, если ты не знаешь, а повторяешь только чужие слова.

4

Осуждение другого всегда неверно, потому что никто никогда не может знать того, что происходило и происходит в душе того, кого осуждаешь.

5

Хорошо уговориться с приятелем о том, чтобы останавливать друг друга, как скоро тот или другой из вас начнет осуждать ближнего. А если нет такого приятеля, то уговорись о том же сам с собою.

6

Осуждать людей в глаза нехорошо потому, что это обижает их, а за глаза нечестно, потому что это обманывает их. Самое лучшее не искать дурного в людях и забывать его, а искать дурное в себе и помнить.

7

Остроумное осуждение - это дохлятина под соусом. Под соусом не заметишь, как наешься и всякой гадины.

8

Чем меньше знают люди о худых делах людей, тем строже они к самим себе.

9

Не слушайте никогда тех, кто говорят дурно о других и хорошо о вас.

10

Кто за глаза поносит меня, тот боится меня, а кто в глаза хвалит, презирает меня.

Китайская пословица

11

Злословие так нравится людям, что очень трудно удержаться от того, чтобы не сделать приятное своим собеседникам: не осуждать отсутствующих. Но если уж непременно угощать людей, то угощай чем-нибудь другим, а не таким вредным и для себя и для угощаемых угощением.

12

Прикрой чужой грех, Бог два простит.

V. ВРЕД ОТ НЕВОЗДЕРЖАНИЯ В СЛОВЕ

1

Мы знаем, что с заряженными ружьями надо обращаться осторожно, а не хотим знать того, что так же осторожно надо обращаться и со словом. Слово может не только убить, но и сделать зло хуже смерти.

2

Мы возмущаемся на телесные преступления: объелся, подрался, прелюбодействовал, убил, - а легко смотрим на преступления слова: осудил, оскорбил, передал, напечатал, написал вредные, развращающие слова, а между тем последствия преступлений слова гораздо более тяжелы и значительны, чем преступления тела. Разница только в том, что зло телесных преступлений тотчас же заметно. Зло же преступления

слова мы не замечаем, потому что оно сказывается далеко от нас и по месту и по времени.

3

Было большое собрание людей, больше тысячи, в большом театре. В середине представления один глупый человек вздумал пошутить и крикнул одно слово: "Пожар!" Народ бросился к дверям. Все столпились, давили друг друга, и, когда опомнились, было раздавлено насмерть 20 человек и больше 50 поранено.

Такое великое зло может сделать одно глупое слово.

Тут, в театре, видно зло, которое сделало одно глупое слово, но часто бывает, что вред глупого слова хотя и не сразу виден, как в театре, а делает понемногу и незаметно еще больше зла.

4

Ничто так не поощряет праздности, как пустые разговоры. Если бы люди молчали и не говорили тех пустяков, которыми они отгоняют от себя скуку праздности, они не могли бы переносить праздности и работы бы.

5

Дурно говорить о людях вредит сразу трем: тому, о ком говорят дурно, тому, кому говорят дурно, но более всего тому, кто говорит дурно о людях.

Василий Великий

6

Заочное осуждение тем особенно дурно, что то самое суждение о недостатках человека, которое, сказанное в глаза, могло бы быть полезно ему, скрывается от того, кому оно может быть нужно, и сообщается тем, кому оно вредно, возбуждая дурное чувство к осуждаемому.

7

Редко раскаешься в том, что промолчал, а сколько раз раскаешься в том, что сказал, и еще чаще бы раскаивался, если бы знал все последствия твоего слова.

8

Чем больше хочется говорить, тем больше опасность, что скажешь дурное.

Большая сила у того человека, который умеет промолчать, хотя он прав.

Катон

VI. ПОЛЬЗА МОЛЧАНИЯ

1

Давай больше отдыхать языку, чем рукам.

2

Часто молчание лучший из ответов.

3

Семь раз поверни язык, прежде чем начнешь говорить.

4

Надо или молчать, или говорить вещи, которые лучше молчания.

5

Кто много говорит, тот мало делает. Мудрый человек всегда боится, чтобы слова его не обещали больше того, что он может дать делами, и потому чаще молчит и говорит только тогда, когда это нужно не ему, а другим.

6

Весь век свой я провел среди мудрецов и не нашел для человека ничего лучше молчания.

Талмуд

7

Если из ста раз один раз пожалеешь о том, что не сказал, что надо было, то наверное из ста раз 99 раз пожалеешь, что говорил, когда надо было молчать.

8

По одному тому, что хорошее намерение высказано, уже ослаблено желание исполнить его. Но как удержаться от высказывания благородно-самодовольные порывы юности? Только гораздо позже, вспоминая их, жалеешь о них, как о цветке, который не удержался, сорвал не распустившимся и потом увидел на земле завялым и затоптанным.

9

Слово - ключ сердца. Если разговор ни к чему не ведет, то и одно слово лишнее.

10

Когда ты один, думай о своих грехах, когда в обществе – забывай чужие.

Китайское изречение

11

Если очень хочется говорить, то спроси себя: для чего тебе так хочется говорить – для себя, для своей выгоды или для выгоды, пользы других. Если для себя, то постарайся промолчать.

12

Глупому человеку лучше всего молчать. Но если бы он знал это, он бы не был глупым человеком.

Саади

13

Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.

14

Когда ты говоришь, слова твои должны быть лучше молчания.

Арабская поговорка

15

Многоглаголющему не миновать греха. Если слово стоит одну монету, то молчание стоит две. Если подобает молчание умным, то тем более глупым.

Талмуд

VII. ПОЛЬЗА ВОЗДЕРЖАНИЯ В СЛОВЕ

1

Чем меньше будешь говорить, тем больше будешь работать.

2

Отужи себя от осуждения, и ты почувствуешь в своей душе увеличение способности любви, почувствуешь увеличение жизни и блага.

3

Магомет и Али встретили раз человека, который, считая Али своим обидчиком, начал ругать его. Али переносил это с терпением и в молча-

нии довольно долго, но потом не удержался и стал отвечать ругательствами на ругательства. Тогда Магомет отошел от них. Когда Али подошел опять к Магомету, он сказал ему: "Зачем ты оставил меня одного переносить ругательства этого дерзкого человека?" – "Когда этот человек бранил тебя, а ты молчал, – сказал Магомет, – я видел вокруг тебя десять ангелов, и ангелы отвечали ему. Но когда ты начал отвечать ему бранью, ангелы оставили тебя, – отошел и я".

Мусульманское предание

4

Скрывать недостатки других и говорить о том, что есть в них доброго, есть признак любви и лучший способ привлечь к себе любовь ближних.

Из "Благочестивых мыслей"

5

Благо жизни людей – их любовь между собой. А недобрым словом можно нарушить любовь.

Дмитрий Сергеевич ЛИХАЧЁВ (1906-1999)

Лихачев Д.С. Письма о добром. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2013.

Письмо первое

БОЛЬШОЕ В МАЛОМ

В материальном мире большое не уместить в малом. В сфере же духовных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо большее, а если в большом попытаться уместить малое, то большое просто перестанет существовать. Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем – в самом, казалось бы, незначительном. Надо быть честным в незаметном и случайном: тогда только будешь честным и в выполнении своего большого долга. Большая цель охватывает всего человека, сказывается в каждом его поступке, и нельзя думать, что дурными средствами можно достигнуть доброй цели. Поговорка "цель оправдывает средства" губительна и безнравственна. Это хорошо показал Достоевский в "Преступлении и наказании". Главное действующее лицо этого произведения – Родион Раскольников.

ков – думал, что, убив отвратительную старушонку-ростовщицу, он добудет деньги, на которые сможет затем достигнуть великих целей и облагодетельствовать человечество, но терпит внутреннее крушение. Цель далека и несбыточна, а преступление реально; оно ужасно и ничем не может быть оправдано. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. Надо быть одинаково честным как в большом, так и в малом. Общее правило: блюсти большое в малом – нужно, в частности, и в науке. Научная истина дороже всего, и ей надо следовать во всех деталях научного исследования и в жизни ученого. Если же стремиться в науке к "мелким" целям – к доказательству "силой", вопреки фактам, к "интересности" выводов, к их эффективности или к любым формам самопродвижения, то ученый неизбежно терпит крах. Может быть, не сразу, но в конечном счете! Когда начинаются преувеличения полученных результатов исследования или даже мелкие подтасовки фактов и научная истина оттесняется на второй план, наука перестает существовать, и сам ученый рано или поздно перестает быть ученым. Соблюдать большое надо во всем решительно. Тогда все легко и просто (стр. 7-8).

Письмо второе

МОЛОДОСТЬ – ВСЯ ЖИЗНЬ

«...» Подлинные друзья приобретаются в молодости. Я помню, что и у моей матери настоящими друзьями остались только ее подруги по гимназии. У отца друзья были его сокурсники по институту. И сколько я ни наблюдал, открытость к дружбе постепенно снижается с возрастом. Молодость – это время сближения. И об этом следует помнить и друзей беречь, ибо настоящая дружба очень помогает и в горе и в радости. В радости ведь тоже нужна помощь: помощь, чтобы ощутить счастье до глубины души, ощутить и поделиться им. Неразделенная радость – не радость. Человека портит счастье, если он переживает его один. Когда же наступит пора несчастий, пора утрат – опять-таки нельзя быть одному. Горе человеку, если он один. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. Цените все хорошее, что приобрели в молодые годы, не растрачивайте богатств молодости. «...» В памяти остаются все поступки, совершенные в молодости. Хорошие будут радовать, дурные не давать спать! (стр. 8-9).

САМОЕ БОЛЬШОЕ

А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро – это прежде всего счастье всех людей. Оно складывается из многого, и каждый раз жизнь ставит перед человеком задачу, которую важно уметь решать. Можно и в мелочи сделать добро человеку, можно и о крупном думать, но мелочь и крупное нельзя разделять. Многое, как я уже говорил, начинается с мелочей, зарождается в детстве и в близком. Ребенок любит свою мать и своего отца, братьев и сестер, свою семью, свой дом. Постепенно расширяясь, его привязанности распространяются на школу, село, город, всю свою страну. А это уже совсем большое и глубокое чувство, хотя и на этом нельзя останавливаться и надо любить в человеке человека. Надо быть патриотом, а не националистом. Нет необходимости ненавидеть каждую чужую семью, потому что любишь свою. Нет необходимости ненавидеть другие народы, потому что ты патриот. Между патриотизмом и национализмом глубокое различие. В первом – любовь к своей стране, во втором – ненависть ко всем другим. Большая цель добра начинается с малого – с желания добра своим близким, но, расширяясь, она захватывает все более широкий круг вопросов. Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся все слабее. Любовь же и дружба, разрастаясь и распространяясь на многое, обретают новые силы, становятся все выше, а человек, их центр, мудрее. Любовь не должна быть безотчетной, она должна быть умной. Это значит, что она должна быть соединена с умением замечать недостатки, бороться с недостатками – как в любом человеке, так и в окружающих людях. Она должна быть соединена с мудростью, с умением отделять необходимое от пустого и ложного. Она не должна быть слепой. Слепой восторг (его даже не назовешь любовью) может привести к ужасным последствиям. Мать, всем восторгающаяся и поощряющая во всем своего ребенка, может воспитать нравственного урода. <...> Мудрость – это ум, соединенный с добротой. Ум без доброты – хитрость. Хитрость же постепенно чахнет и непременно рано или поздно оборачивается против самого хитреца. Поэтому хитрость вынуждена скрываться. Мудрость же открыта и надежна. Она не обманывает других, и прежде всего самого мудрого человека. Мудрость приносит мудрецу доброе имя и прочное счастье, приносит счастье надежное, долготетнее и ту спокойную совесть, которая ценнее всего в старости. Как выразить то общее, что есть между моими тремя положениями: "Большое в малом",

"Молодость – всегда" и "Самое большое"? Его можно выразить одним словом, которое может стать девизом: "Верность"... (стр. 9-11).

Письмо пятое

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ

Можно по-разному определять цель своего существования, но цель должна быть – иначе будет не жизнь, а прозябание. Надо иметь и принципы в жизни. Хорошо их даже изложить в дневнике, но чтобы дневник был "настоящим", его никому нельзя показывать – писать для себя только. Одно правило в жизни должно быть у каждого человека, в его цели жизни, в его принципах жизни, в его поведении: надо прожить жизнь с достоинством, чтобы не стыдно было вспомнить. Достоинство требует доброты, великодушия, умения не быть узким эгоистом, быть правдивым, хорошим другом, находить радость в помощи другим. Ради достоинства жизни надо уметь отказываться от мелких удовольствий и немалых тоже... Уметь извиняться, признавать перед другими ошибку – лучше, чем юлить и врать. Обманывая, человек прежде всего обманывает самого себя, ибо он думает, что успешно соврал, а люди поняли и из деликатности промолчали. Вранье всегда видно. У людей особое чувство подсказывает – врут им или говорят правду. Но нет доказательств, а чаще – не хочется связываться... Природа создавала человека много миллионов лет, пока не создала, и вот эту творческую, созидательную деятельность природы нужно, я думаю, уважать, нужно прожить жизнь с достоинством и прожить так, чтобы природа, работавшая над нашим созданием, не была обижена. Природа созидательна, она создала нас, поэтому мы должны в нашей жизни поддерживать эту созидательную тенденцию, творчество и ни в коем случае не поддерживать всего разрушительного, что есть в жизни. <...> Жизнь – прежде всего творчество, но это не значит, что каждый человек, чтобы жить, должен родиться художником, балериной или ученым. Творчество тоже можно творить. Можно творить просто добрую атмосферу вокруг себя, как сейчас выражаются, ауру добра вокруг себя. Вот, например, в общество человек может принести с собой атмосферу подозрительности, какого-то тягостного молчания, а может внести сразу радость, свет. Вот это и есть творчество. Творчество – оно непрерывно. Так что жизнь – это и есть вечное созидание. Человек рождается и оставляет по себе память... (стр. 13-15).

ЦЕЛЬ И САМООЦЕНКА

Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он вместе с тем невольно дает себе оценку. По тому, ради чего человек живет, можно судить и о его самооценке – низкой или высокой. Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура... Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. Он ставит себе цель, достойную человека. Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Подумайте: если человек ставит себе задачу увеличивать в жизни добро, приносить людям счастье, какие неудачи могут его постигнуть? Не тому помочь, кому следовало бы? Но много ли людей не нуждаются в помощи? Если ты врач, то, может быть, поставил больному неправильный диагноз? Такое бывает у самых лучших врачей. Но в сумме ты все-таки помог больше, чем не помог. От ошибок никто не застрахован. Но самая главная ошибка, ошибка роковая – неправильно выбранная главная задача в жизни. Не повысили в должности – огорчение. Не успел купить марку для своей коллекции – огорчение. У кого-то лучшая, чем у тебя, мебель или лучшая машина – опять огорчение, и еще какое! Ставя себе задачей карьеру или приобретательство, человек испытывает в сумме гораздо больше огорчений, чем радостей, и рискует потерять все. А что может потерять человек, который радовался каждому своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек делает, было бы его внутренней потребностью, шло от умного сердца, а не только от головы, не было бы одним только "принципом". Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная, она не должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. Она должна диктоваться добротой к людям, любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей вселенной. Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботиться о себе, ничего не приобретать и не радоваться простому повышению в должности? Отнюдь нет! Человек, который совсем не думает о себе, – явление ненормальное и мне лично неприятное: в этом есть какой-то надлом, какое-то показное преувеличение в себе своей добро-

ты, бескорыстия, значительности, в этом есть какое-то своеобразное презрение к остальным людям, стремление выделиться. Поэтому я говорю лишь о главной жизненной задаче. А эту главную жизненную задачу не надо подчеркивать в глазах остальных людей. И одеваться надо хорошо (это уважение к окружающим), но не обязательно "лучше других". И библиотеку себе надо составлять, но не обязательно большую, чем у соседа. И машину хорошо приобрести для себя и семьи – это удобно. Только не надо превращать второстепенное в первостепенное и не надо, чтобы главная цель жизни изнуряла тебя там, где это не нужно. Когда это понадобится – другое дело. Там посмотрим, кто и к чему способен (стр. 15-17).

Письмо двенадцатое

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН

Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства. А если окружающая среда не позволяет? А если интеллигентность сделает его "белой вороной" среди его сослуживцев, друзей, родных, будет просто мешать его сближению с другими людьми? Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, и для самого человека. Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить счастливо и долго – да, долго! Ибо интеллигентность равна нравственному здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго – не только физически, но и умственно. В Библии сказано: "Чти отца своего и мать свою, и долголетен будешь на земле". Это относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро. Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а потом, почему она связана с заповедью долголетия. Многие думают: интеллигентный человек – это тот, который много читал, получил хорошее образование (и даже по преимуществу гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков. А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Образованность живет старым содержанием, интеллигентность – созданием нового и осознанием старого как нового. Больше того... Лишите подлинно интеллигентного человека всех его знаний, образованности, лишите его самой памяти. Пусть он забыл все на свете, не будет знать классиков литературы, не будет помнить величайшие произведения ис-

куства, забудет важнейшие исторические события, но если при всем этом он сохранит восприимчивость к интеллектуальным ценностям, любовь к приобретению знаний, интерес к истории, эстетическое чутье, сможет отличить настоящее произведение искусства от грубой "штук-вины", сделанной, только чтобы удивить, если он сможет восхититься красотой природы, понять характер и индивидуальность другого человека, войти в его положение, а поняв другого человека, помочь ему, не проявит грубости, равнодушия, злорадства, зависти, а оценит другого по достоинству, если он проявит уважение к культуре прошлого, навыки воспитанного человека, ответственность в решении нравственных вопросов, богатство и точность своего языка – разговорного и письменного, – вот это и будет интеллигентный человек. Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя – не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!). Я знал на русском Севере крестьян, которые были по-настоящему интеллигентны. Они соблюдали удивительную чистоту в своих домах, умели ценить хорошие песни, умели рассказывать "бывальщину" (то есть то, что произошло с ними или другими), жили упорядоченным бытом, были гостеприимны и приветливы, с пониманием относились и к чужому горю, и к чужой радости. Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это терпимое отношение к миру и к людям. Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать – тренировать душевные силы, как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях. Что тренировка физических сил способствует долголетию – это понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия необходима и тренировка духовных и душевных сил. Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других – это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить... Толкается в переполненном автобусе – слабый и нервный человек, измотанный, неправильно на все реагирующий. Ссорится с соседями – тоже человек, не умеющий жить, глухой душевно. Эстетически невосприимчивый – тоже человек несчастный. Не умеющий понять другого человека, приписывающий ему только злые намерения, вечно обижающийся на других – это тоже человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом убежден. Долголетний опыт меня в этом убедил. Приветливость и доброта делают человека не толь-

ко физически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым. Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным, а движения злого человека лишены изящества – не нарочитого изящества, а природного, которое гораздо дороже. Социальный долг человека – быть интеллигентным. Это долг и перед самим собой. Это залог его личного счастья и "ауры доброжелательности" вокруг него и к нему (то есть обращенной к нему). Все, о чем я разговариваю с молодыми читателями в этой книге, – призыв к интеллигентности, к физическому и нравственному здоровью, к красоте здоровья. Будем долголетни, как люди и как народ! А почитание отца и матери следует понимать широко – как почитание всего нашего лучшего в прошлом, в прошлом, которое является отцом и матерью нашей современности, великой современности, принадлежащей к которой – великое счастье (стр. 25-29).

Письмо тринадцатое

О ВОСПИТАННОСТИ

Получить хорошее воспитание можно не только в своей семье или в школе, но и... у самого себя. Надо только знать, что такое настоящая воспитанность. Я не берусь давать "рецепты" воспитанности, так как сам себя вовсе не считаю образцово воспитанным. Но кое-какими мыслями я хотел бы поделиться с читателями. Я убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. Если мужчина на улице пропускает вперед себя незнакомую женщину (даже в автобусе!) и даже открывает ей дверь, а дома не поможет усталой жене вымыть посуду, – он невоспитанный человек. Если со знакомыми он вежлив, а с домашними раздражается по каждому поводу, – он невоспитанный человек. Если он не считается с характером, психологией, привычками и желаниями своих близких, – он невоспитанный человек. Если уже во взрослом состоянии он как должное принимает помощь родителей и не замечает, что они сами уже нуждаются в помощи, – он невоспитанный человек. Если он громко заводит радио и телевизор или просто громко разговаривает, когда кто-то дома готовит уроки или читает (пусть это будут даже его маленькие дети), – он невоспитанный человек и никогда не сделает воспитанными своих детей. Если он любит трунить (шутить) над женой или детьми, не щадя их самолюбия, особенно при посторонних, то тут уже он (извините меня!) просто глуп. Воспитанный человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Это тот,

кто в равной степени вежлив и со старшим и с младшим годами и по положению. Воспитанный человек во всех отношениях не ведет себя "громко", экономит время других, ("Точность – вежливость королей" – говорит поговорка), строго выполняет данные другим обещания, не важничает, не "задирает нос" и всегда один и тот же – дома, в школе, в институте, на работе, в магазине и в автобусе. Читатель заметил, вероятно, что я обращаюсь главным образом к мужчине, к главе семьи. Это потому, что женщине действительно нужно уступать дорогу... не только в дверях. Но умная женщина легко поймет, что именно надо делать, чтобы, всегда и с признательностью принимая от мужчины данное ей природой право, как можно меньше заставлять мужчину уступать ей первенство. А это гораздо труднее! Поэтому-то природа позаботилась, чтобы женщины в массе своей (я не говорю об исключениях) были наделены большим чувством такта и большей природной вежливостью, чем мужчины... Есть много книг о "хороших манерах". Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрение окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется: иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, ненужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. В чем же дело? Что лежит в основе руководства для приобретения хороших манер? Простое ли это собрание правил, "рецептов" поведения, наставлений, которые трудно запомнить все? В основе всех хороших манер лежит забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо. <...> Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько то, что выражается в манерах, бережное отношение к миру: к обществу, к природе, к животным и птицам, к растениям, к красоте местности, к прошлому тех мест, где живешь, и т.д. Надо не запоминать сотни правил, а запомнить одно - необходимость уважительного отношения к другим. А если у вас будет это и еще немного находчивости, то манеры сами придут к вам или, лучше сказать, придет память на правила хорошего поведения, желание и умение их применить (стр. 29-32).

ПУТЯМИ ДОБРОТЫ

«...» Что же самое главное в жизни? Главное может быть в оттенках у каждого свое собственное, неповторимое. Но все же главное должно быть у каждого человека. Жизнь не должна рассыпаться на мелочи, растворяться в каждодневных заботах. И еще, самое существенное: главное, каким бы оно ни было индивидуальным у каждого человека, должно быть добрым и значительным. Человек должен уметь не просто подниматься, но подниматься над самим собой, над своими личными повседневными заботами и думать о смысле своей жизни – оглядывать прошлое и заглядывать в будущее. Если жить только для себя, своими мелкими заботами о собственном благополучии, то от прожитого не останется и следа. Если же жить для других, то другие сберегут то, чему служил, чему отдавал силы. Заметил ли читатель, что все дурное и мелкое в жизни быстро забывается. Еще людьми владеет досада на дурного и эгоистичного человека, на сделанное им плохое, но самого человека уже не помнят, он стерся в памяти. Люди, ни о ком не заботящиеся, как бы выпадают из памяти. А люди, служившие другим, служившие поумному, имевшие в жизни добрую и значительную цель, запоминаются надолго. Помнят их слова, поступки, их облик, их шутки, а иногда чувства. О них рассказывают. Гораздо реже и, разумеется, с недобрым чувством говорят о злых. В жизни надо иметь свое служение – служение какому-то делу. Пусть дело это будет маленьким, оно станет большим, если будешь ему верен. В жизни ценнее всего доброта, и при этом доброта умная, целенаправленная. Умная доброта – самое ценное в человеке, самое к нему располагающее и самое в конечном счете верное по пути к личному счастью. Счастья достигает тот, кто стремится сделать счастливыми других и способен хоть на время забыть о своих интересах, о себе. Это "неразменный рубль". Знать это, помнить об этом всегда и следовать путями доброты – очень и очень важно. Поверьте мне! (стр. 155-157).

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1. ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СМЫСЛ	4
Эпикур (ок. 341-271 до н.э.)	4
Мишель де Монтень (1533-1592)	5
Иоганн Вольфганг Гете (1749-1832)	7
Гастон Башляр (1884-1962)	8
Памфил Данилович Юркевич (1826-1874)	10
Михаил Александрович Бакунин (1814-1876)	19
2. ЧЕЛОВЕК КАК ОБЪЕКТ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА У МЫСЛИТЕЛЕЙ ДРЕВНОСТИ	30
2.1. Образ человека в древнекитайской философии	30
Лао Си (VI в. до н.э.)	31
Конфуций (551-449 до н.э.)	35
Даосские притчи	40
2.2. Проблема человека в античной философии	49
Гераклит (544-483 до н.э.)	49
Платон (427-347 до н.э.)	51
Аристотель (384-322 до н.э.)	54
Диоген Синопский (412-323 до н.э.)	55
3. ЧЕЛОВЕК В ФИЛОСОФИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ	57
3.1. Средневековая философия о человеке	57
Августин (354-430)	58
Фома Аквинский (1225-1274)	62
Джордано Бруно (1548-1600)	66
3.2. Проблема человека в философии Возрождения	68
Эразм Роттердамский (1466-1536)	69
Никколо Макиавелли (1469-1527)	72
Мишель де Монтень (1533-1592)	75
4. ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ФИЛОСОФИЯ XVII ВЕКА О ЧЕЛОВЕКЕ	82
Френсис Бэкон (1561-1626)	82
Томас Гоббс (1588-1679)	84
Джон Локк (1632-1704)	91

Дэвид Юм (1711-1776).....	95
Блез Паскаль (1623-1662)	102
Бенедикт Спиноза (1632-1677).....	104
Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646-1716).....	107
5. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ЗАПАДНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ XVIII ВЕКА	111
Жан-Жак Руссо (1712-1778).....	112
Клод Адриан Гельвеций (1715-1771).....	117
Дени Дидро (1713-1784).....	121
Жюльен Офре де Ламетри (1709-1751).....	125
6. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА	128
Иммануил Кант (1724-1804).....	129
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831)	131
Людвиг Адreas фон Фейербах (1804-1872)	133
Артур Шопенгауэр (1788-1860)	136
Фридрих Ницше (1844-1900).....	137
7. МАРКСИСТСКАЯ ФИЛОСОФИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ	139
Карл Маркс (1818-1883).....	140
Фридрих Энгельс (1820-1895).....	142
8. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ XX ВЕКА	151
Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955).....	152
Мартин Хайдеггер (1889-1976)	158
Макс Шелер (1874-1928)	159
Зигмунд Фрейд (1856-1939).....	165
Эрих Фромм (1900-1980).....	167
Альбер Камю (1913-1960).....	172
Жан-Поль Сартр (1905-1980)	176
Йохан Хейзинга (1872-1945)	177
9. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ.....	189
Федор Михайлович Достоевский (1821-1881).....	190
Лев Николаевич Толстой (1828-1910).....	212
Дмитрий Сергеевич Лихачев (1906-1999).....	240

Учебное издание

ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

ИДЕИ И ТЕОРИИ МЫСЛИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ ЭПОХ И КУЛЬТУР

Хрестоматия

Составители:

*ПУРЫНЫЧЕВА Галина Михайловна, АЛЕКСЕЕВ Александр Петрович,
БИЛАОНОВА Марина Юрьевна, ВЯЗОВА Екатерина Валерьевна,
ЗАГАЙНОВА Валентина Ивановна, ПУРЫНЫЧЕВ Михаил Юрьевич*

Редактор *Л. С. Емельянова*

Компьютерная верстка *Е. А. Рыбакова*

Подписано в печать 03.03.2014. 60х84 ¹/₁₆.

Бумага офсетная. Печать офсетная.

Усл. печ. л. 14,64. Тираж 130 экз. Заказ № 5313.

Поволжский государственный технологический университет
424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3

Редакционно-издательский центр ПГТУ
424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17